НЕ ВЕДАЯ ГРАНИЦ

НЕ ВЕДАЯ ГРАНИЦ

Сборник произведений писателей
Беларуси и Казахстана

Минск
«Издательский дом «Звязда»
2013

УДК [821.161.1(476)+821.512.122]-822
ББК 84(4Беи=Рус)
Н38

Серия основана в 2013 году

Автор идеи и руководитель проекта *Л. С. Ананич*

Составитель *Алесь Бадак*

Предисловие *Алеся Карлюкевича*

Редакционный совет:
А. Н. Карлюкевич (председатель), А. Н. Бадак, Р. А. Боровикова,
О. А. Ждан, А. Г. Корбут, Н. М. Метлицкий, Н. И. Чергинец

Выпуск издания осуществлен по заказу
и при финансовой поддержке
Министерства информации Республики Беларусь

В оформлении издания использован фотоснимок
фрагмента слуцкого пояса приблизительно 1760 г.
(В граде Слуцке : фотаальбом / уклад. і аўтар прадмовы
М. М. Яніцкая. — Мінск : Асобны, 2006. — 136 с.),
а также элемент национального казахского орнамента

Не ведая границ : сборник произведений писателей
Н38 Беларуси и Казахстана / сост. Алесь Бадак. — Минск :
Издательский дом «Звязда», 2013. — 256 с. — (Созвучие
сердец).
ISBN 978-985-7059-41-6.

«Созвучие сердец» — новая книжная серия «Издательского дома «Звязда». Ее цель — познакомить читателя с лучшими произведениями, созданными в основном в постсоветское время поэтами и прозаиками, представителями стран, входящих в Содружество Независимых Государств.

«Не ведая границ» — четвертая книга серии. В нее вошли стихи и рассказы писателей Беларуси и Казахстана.

УДК [821.161.1(476)+821.512.122]-822
ББК 84(4Беи=Рус)+84(5Каз)

ISBN 978-985-7059-41-6

© Бадак А. Н., составление, 2013
© Карлюкевич А. Н., предисловие, 2013
© Оформление. РИУ «Издательский дом «Звязда», 2013

«ОТКУДА МЫ ПРИШЛИ И КУДА ПУТЬ СВОЙ ВЕРШИМ?..»

Казахстан открыл мне Олжас Сулейменов. Его книга «Аз и я» стала дорогой в широкий мир. Нет, не в иной, просто дорогой в необходимое для познания пространство. «Слово о полку Игореве» (и в переводе Игоря Шкляревского; и на белорусском — в перевоплощении Янки Купалы) я прочитал еще раньше. И для меня легендарное художественное открытие времени уже становилось учебником чтения. Но следом за казахом Олжасом Сулейменовым памятник древнерусской культуры, литературы стал для меня новым светом, новым духовным оружием, позволяющим не бояться обращать свой взор на планетарные масштабы времени. Не бояться повторить следом за Олжасом Сулейменовым: «…Мы глядим вниз, стараясь увидеть цветущие формы прошлого сквозь вековые пласты культурных предрассудков, которые старше нас, но моложе правды.

Разгребая взглядом *пыль*, угнетающую *истину*, мы узнаем их *силу*. (Местоимение "их" относится к трем выделенным существительным.)

"Слово" — неожиданно.

Оно заключает в себе прозрения, кажущиеся подозрительными, тривиальные образы, покрытые паутиной гениальности, и темные речения, великие уже потому, что понимаются банально.

Восковые образы, оборачивающиеся здоровенными розовыми кукишами; оазис в пустыне, принимаемый за мираж; историческая сказка и волшебный факт — замечательное "Слово".

"Слово" — своеобразный тест, проверяющий знания, мировоззрение и творческие способности читателя, его психологическую подготовленность к встрече с историей. Оно, как лакмусовая бумажка, определяет читательскую среду — в одном прочтении краснеет, в другом синеет. А иногда и белеет.

Любопытное "Слово"!

"Слово" формировало мое миропонимание…»

Космическое осмысление Олжасом Слова и «Слова о полку Игореве» дало один из главных уроков, научило быть читателем, но не соглашателем, научило еще больше любить свое, родное, но не за счет чужого, а во имя открытия чужого и бесконечного.

Рядом с Олжасом Сулейменовым у меня как у читателя, постигающего мир, страждущего открытий, появились другие казахские первооткрыватели. Абай… Что примечательно, он сражен не только своим оригинальным творчеством, но и самим образом жизни, художественной судьбой. Его «Гаклия» — и философия,

и лирика, и гражданственность, публицистическое осмысление современности. Абай переводил на казахский язык А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова и даже И. А. Бунина — современного ему поэта и прозаика, русского классика, который только начинал свой путь в художественном осмыслении мироздания. А еще переводил И. В. Гете, Г. Гейне. Писал музыку на свои лирические стихотворения.

В ряду учителей — Мухтар Ауэзов. Давно прочитав «Абая», сейчас перечитываю новый перевод великой эпопеи, осуществленный Анатолием Кимом. Энциклопедия казахской жизни — пожалуй, из тех книг казахской литературы, которые нельзя не прочитать, нельзя не осмыслить. Вот как раз этого всеобъемлющего представления о других народах, их своеобразии, отличительных чертах нам сегодня и не хватает. Постижение себя, утверждение себя — это и открытие мира… Казахи, великие казахстанцы Абай, Мухтар Ауэзов, Абдижамил Нурпеисов, Ануарбек Алимжанов, Дмитрий Сыеши, Морис Симашко, Герольд Бельгер, Ильяс Есенберлин, Сабит Муканов, Сакен Сейфуллин, Габиден Мустафин, Адий Шарипов…

Время идет вперед. Рождаются новые произведения. Художники слова заглядывают в прошлое, всматриваются в завтра с новых высот. И читателя, не только читателя Казахстана, но и постсоветского пространства, всего русскоязычного мира ждут новые открытия. Теперь уже — Фаризы Унгарсыновой, Абиша Кекильбаева, Мукагали Макатаева, Кадыра Мурзалиева, Калихана Искакова, Валерия Михайлова, Любови Шашковой, Оралхана Бокеева, Назикен Алпамыскызы, Нурлана Оразалина, чьи произведения вошли в белорусско-казахстанский сборник серии «Созвучие сердец».

И снова я обращаюсь к Олжасу Сулейменову: «Не забуду упомянуть еще одно условие, необходимо дополняю. Еще образ читателя. «Слово» не должно быть *средством*, как, впрочем, литература и наука вообще. От того, *как* ты прочтешь, *чью* точку зрения поддержишь, а чью опровергнешь, не должно зависеть твое бытование. Ты обязан быть предельно свободным в оценках работ своих учителей. Аксиома, но требующая ежечасных доказательств практикой творческой жизни».

Спасибо, Казахстан! Спасибо, казахская литература!.. Мир открытий без вас был бы гораздо меньше. И когда в Беларуси, России, других краях и весях кто-то выберется в новую дорогу, в его дорожной котомке, в арсенале его духовного оружия непременно займут достойное место произведения писателей Казахстана.

Алесь Карлюкевич

ЯЗЫК ОТЦОВ, ЯЗЫК ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Мухтар АУЭЗОВ

ПУТЬ АБАЯ

(Фрагмент)

Сгущались вечерние сумерки. На глазах зарождалась темнота. Казалось, изо всех углов комнаты неслышно выступала ночь и постепенно наполняла собою весь большой дом. Это было самое просторное жилье из всех зимников Жидебая. Дом двух матерей Абая был богатым, большим, гостеприимным. Внутреннее убранство его отличалось обилием роскошных ковров, узорчатых домотканых паласов, вдоль стен высокими стопками пестрели одеяла самых разных ярких расцветок. Здесь и жил Абай рядом с любимой бабушкой и родной матерью. Еще не зажигали светильников, дома почти никого нет, народ хлопочет на улице, устраивая скот на ночь.

У окна сидел на корточках Абай и, опираясь локтями на низкий подоконник, подперев ладонями подбородок, задумчиво смотрел на позлащенные солнцем далекие вершины Чингиза. Вдруг, оказавшись в непривычном одиночестве, он надолго замолк и весь превратился в слух и отдался созерцанию.

В комнате, кроме него, сидела на полу, на своей постоянно раскрытой постели, старенькая Зере и качала на коленях младенца, трехлетнюю внучку, дочь младшей жены Кунанбая, красавицы Айгыз. Бабушка привычно, монотонно тянула колыбельную песенку. Это была ста-

ринная колыбельная, ее теперь никто не пел, и только от дряхлой Зере Абай слышал ее. С самого малого возраста Абай любил слушать эту песню, засыпал под нее, и она была для него такою же родной и любимой, как сама бабушка. Сколько раз он ни слышал ее — в ней не менялись ни слова, ни напев, она была навеки верна тем, кому ее пели, как само материнское сердце. Для Абая эта простенькая, бесхитростная песенка звучала как напев мирных сумеречных вечеров на родине. Тоскливый, монотонный мотив ее дожил до старости Зере, сам ничуть не изменившись. И смотревшему в окно Абаю хотелось, чтобы голос ее, порой печальный, а порой бесконечно ласковый и любящий, никогда не смолкал.

С того дня, как перекочевали на зимовье, Абай по вечерам неизменно остается наедине с бабушкой. Он сам не может себе объяснить, почему так хочется ему быть рядом с нею. Едва подступит вечер, стада возвратятся с пастбищ, Абай идет в дом младшей матери Айгыз, берет на руки маленькую Камшат и приносит ее к бабушке Зере. Он ласкает ребенка, играет с нею, и когда девочка утомится и захочет спать, передает ее в руки старушки.

Камшат не сразу засыпает, и в полумраке сумерек, когда старая Зере перестает петь, полагая, что ребенок заснул, у девочки вдруг вздрагивают ресницы, она открывает глаза. И в полудреме, сонно моргая глазками, принимается хныкать, словно прося продолжения пения.

Час заката Абай всегда проводил в отстраненном молчании. Ему хочется побыть наедине с самим собой. Старенькая бабушка не мешает. Если же вечер застает его вне дома, он уходит подальше от аула, взбирается на вершину какого-нибудь холма. В золотом и багровом степном закате таится для него некая притягательная одухотворенная сила, перед которою он, как перед вышним повелителем, оказывается в сладком молитвенном душевном волнении. И сейчас также — слухом он обращен к бабушке, глаза его блуждают по высокому гребню

Чингиза, пылающему огненной короной. Но с заходом солнца золотистое сияние вершин угасает, и в подступающей синеве ночи хребты Чингиза, удаленные верст на двадцать от Жидебая, уходят в глубину неизмеримого пространства. И похожие то на гребень бегущей волны, то на замерших неприступным строем великанов, зубчатые вершины постепенно отдаляются, погружаясь в густеющую темноту ночи.

Что происходило там, в горах, пока еще не известно в ауле. О набеге здесь не знают, но уже дошел слух, что бокенши, все до единого очага, изгнаны из Карашокы, что они, со слезами и воплями проклятий, покинули свои старинные зимовья. Всем было ясно, что на родные пределы Чингиза надвинулись страшные события. Абай тоже догадывался об этом.

Пронизывающий холод, стекающий с гор, замораживает души людские, делая их черствыми и жестокими. И только звуки бабушкиной нежной колыбельной — она, единственная, может устоять против холода человеческих сердец. Обладая какой-то необыкновенной покоряющей силой, эта тихая, едва слышная, напеваемая трепетным старческим голосом песенка способна спасти мир. Абай постиг это не умом, но сердцем, и перевел свой посветлевший взгляд с горных вершин на небо.

Там, в вышине, полноокруглая жаркая луна, плывя в темно-синей бездонной глубине неба, пробиралась среди скопления вздыбленных черных облаков. Она играла, то прячаясь за них, то совершенно неожиданно и резво выскакивая из-за них. Абай засмотрелся на эту лунную игру и вскоре забыл о своих невеселых раздумьях.

Луна прыгнула сверху на груду лохматых облаков, исчезла в них и вдруг вынырнула совсем в неожиданном месте, игриво, убыстряя свой бег, двинулась вперед, опять спряталась за тучку, словно играя в прятки — и вдруг с ясной улыбкой во все полное лицо явилась в чистом синем широком проеме.

В следующий миг, прищуриваясь, словно заигрывая, она одним краем ушла за облако, слегка притушив свое яркое сияние. Абай впервые увидел такую игривую, развеселую луну. Когда напоследок, скакнув над краем тучи тоненьким серпиком, она быстро спряталась — на этот раз надолго — Абай невольно рассмеялся, удивляясь ее проказливости. Она была как непоседливый ребенок, шаловливое милое дитя.

И тут за дверью он услышал быстрый топот бегущих маленьких ног, раздался звонкий смех — это забежал в дом Оспан, убегая от кого-то, весело хохоча, спасаясь от погони, а тот, кто гнался за ним, во весь голос ревел от какой-то обиды. Плачущим оказался Смагул, брат Абая по младшей матери Айгыз, ровесник Оспана.

Абай сразу понял, что Оспан чем-то обидел брата, и, вскочив с места, поймал озорника. И только тут Смагул, настигнув обидчика, смог вцепиться в него. Оспан теперь был у себя дома, быстро обернувшись к Смагулу, он приготовился драться.

— Чего тебе надо тут? — громко завопил он и схватил братишку за ворот чапана.

Абай растащил их.

— Что он тебе сделал? — спросил у Смагула.

Смагул заревел еще громче, захлюпал носом.

— Кулжу мою… Красную кулжу мою украл!..

— Чего ты врешь? Когда это я украл? Ой, рева-корова!

И, кривляясь, подскакивая на месте, Оспан стал передразнивать брата: «Кулжу… кулжу мою украл! Вот дурак!»

Абай крепко ухватил его за шиворот, встряхнул и строгим голосом приказал:

— Ну-ка, отдавай битку!

Но Оспан, как всегда, изворачивался и противился:

— Врет он, никакой кулжи у него не было!

Не выпуская его, Абай начал обыскивать Оспана.

Оспан, неожиданно крутнувшись, вырвался из рук старшего брата и отскочил в сторону. Он подбежал к печи и, пряча руки за спиной, втиснулся в самый угол, встал за большой бадьей с бродившим верблюжьим молоком, шубатом. Видимо, он решил сопротивляться до конца и, в случае чего, готовился опрокинуть на старшего брата эту бадью. Абай разгадал его злонамерение и не стал тащить его из угла.

— Ну-ка, отдавай! Покажи руки! — приказал он братишке.

Тот еще дальше спрятал свои руки. И тут Абай неожиданно схватил Оспана за ухо и начал безжалостно крутить. Оспан завопил от боли и принялся ногой толкать бадью, стараясь опрокинуть ее на Абая. Но он не дал этого сделать. Оспану все же удалось сбросить крышку бадьи, и, продолжая оглушительно кричать, он мигом бросил красную бабку в сосуд с кислым молоком — только булькнуло. Подняв обе руки к лицу Абая, озорник закричал, вмиг перестав реветь:

— Смотри, смотри! Ойбай! Ничего нет! Где кулжа? Где? — И он снова притворно захныкал.

Абай не заметил, как бабка полетела в молоко, но Смагул это увидел, быстро подскочил к бадье и, засучив рукав, по плечо запустил в шубат свою грязную руку, стал деловито шарить по дну бадьи. Теперь Абай рассердился на Смагула и, отпустив Оспана, намеревался схватить младшего брата, чтобы оттащить его от сосуда с шубатом. Но не успел — Оспан из-под его руки рванулся вперед, дал подзатыльника братишке и со злорадным хохотом схватил его за ворот и с головой окунул в кислое молоко. Тот так и не успел нашарить бабку, захлебнулся молоком. Фыркая и откашливаясь, он выдрал голову из бадьи и с новым ревом набросился на Оспана.

— Эй, дурак! Сукин сын! — крикнул он и добавил еще кое-что покрепче, не детское, оскорбляющее матерей.

Абай, в растерянности, онемел и остолбенел, затем рассердился не на шутку и принялся трясти за шиворот Смагула, приговаривая:

— Ах ты, щенок! Что ты сказал? Это кто же тебя так научил? Ты что, забыл, что мать Оспана тебе тоже приходится матерью, дурачок!

Оспану, зачинщику драки, от старшего брата тоже изрядно досталось. Оба мальчика, ревя во весь голос, разбежались в разные стороны. Оспан подбежал за утешением к бабушке и, рухнув на пол, уткнулся лицом в ее постель. Смагул побежал к себе домой.

Грязная, недетская ругань братишки ошеломила Абая, он никак не мог успокоиться. Растерянно стоял на месте, посреди комнаты. Вдруг снова услышал хнычущий голос Смагула. Голос приближался. К нему присоединился громкий возмущенный крик Айгыз, видимо, она тащила сына в Большой дом — разбираться. С грохотом распахнув дверь, ворвалась с улицы, втащила через порог Смагула, поставила его посреди комнаты.

— Нате вам! Разорвите на кусочки несчастного! Съешьте его! Вот он! Все налетайте! — закричала она и свирепо надвинулась на Абая.

— Киши-апа[1]… — обратился он к младшей матери, невольно отступая.

Но Айгыз не дала ему говорить, поток обидных слов, не прекращаясь, исходил из ее уст.

— Что, силы некуда девать? Вас здесь четверо от одной матери, а он у меня один! Бьете слабого, беззащитного…

— Киши-апа, выслушай меня… Ты бы только знала, какими словами он ругается!

— Знать ничего не хочу! А ты сам — уже вырос, так и зубки свои показываешь? Тебе что — все дозволено? Кидаешься на него, потому что он сын соперницы твоей матери! Тебе нравится бить младших?

---

[1]Киши-апа — младшая мама, обращение к младшим женам отца.

— Боже мой! Что ты такое несешь?

— Вот погоди, скоро с учебы приедет Калел, он тебе покажет, как бить маленьких! — речь шла о ее старшем сыне, который обучался в городской русской школе.

Они сошлись лицом к лицу, словно два аула, готовые вступить в бой друг с другом.

— Ойпырмай! Неужели это все, что ты можешь сказать мне, моя младшая мать?

— Не пререкайся, прикуси язык! Знаешь ведь, что вы от старшей жены, байбише, а мои дети — от меня, токал. Поэтому и всякие унижения от вас, побои и пинки бесконечные.

Абаю стало дурно от всей несправедливости, злобы и грубости своей младшей матери. Потемнев от гнева, он едва владел собой, дыхание его пресекалось. Абай с трудом сдерживал слезы.

— Туу! Как ты можешь так? Перестань сейчас же! — гневно выкрикнул он и, жестоко обиженный на Айгыз, отвернулся к окну. Никаких слов для нее у Абая больше не осталось: ни плохих, ни хороших.

Старая Зере, наблюдавшая весь этот сыр-бор, но ничего не слышавшая по своей тугоухости, тем не менее разобралась во всем. Она увидела, как обижен и расстроен ее любимец Абай. Осторожно уложив на постель уснувшую малютку Камшат, старуха с трудом поднялась с места и, согбенная, опираясь на клюку, подошла к невестке.

— А ну-ка, прочь отсюда! — с неожиданной силой, зычно крикнула она. — Зачем пристаешь к детям, языком мелешь, сеешь раздор между ними! Выйди вон отсюда, пока цела!

Айгыз испуганно сжалась и отступила перед старшей матерью. Но, собираясь уйти, не преминула съязвить, зная, что старуха все равно этого не услышит:

— Загрызть меня хотите, топчете и унижаете из-за того, что я токал! Но ничего! Посмотрим, кто кого! Пусть только сам приедет завтра!

Это был намек на Кунанбая. Муж благоволил красивой токал, и она знала, что он не даст ее в обиду. Айгыз последние слова свои произнесла негромко, чтобы их мог услышать только Абай, но не старая Зере.

В это время сзади Айгыз раздался спокойный, сдержанный голос Улжан. Она вошла в раскрытую дверь и уже довольно давно стояла у порога. Молча, сохраняя полное достоинство, выслушала брань Айгыз.

— Во имя Аллаха, перестань, жаным! Ради детей не нужно этого. Я их оберегаю, а ты даже детей не щадишь, — не повышая голоса, ровно говорила Улжан.

— Ладно! Ты бы лучше уж сразу пожелала мне, чтобы я умерла.

— Дорогая, прекрати! Лучше уходи. Никогда не буду даже поминать, что ты тут наговорила. Ради Аллаха, остынь, успокойся и уходи с миром, — все также спокойно закончила Улжан.

Схватив за руку Смагула, Айгыз постояла некоторое время против Улжан, горящими глазами уставившись на нее, затем, так и не найдя, что сказать, быстро вышла из дома, таща за собой сына.

Улжан вздохнула, глядя вслед Айгыз, постояла немного, задумавшись, затем сняла верхнюю одежду. Достала огниво, высекла и раздула огонь и зажгла каменный светильник, стоявший на краю печи. Слабое красноватое пламя осветило комнату, и она увидела опечаленного Абая, сидевшего с нахмуренным лицом.

— Абайжан, что с тобою, сынок?

— Апа! Отчего киши-апа такая злая и сварливая? — спросил он, поднявшись с места и подходя к ней.

Сын спрашивал, как взрослый, вызывая мать на доверительный разговор. И хотя Улжан никогда никому не говорила подобного, но сейчас решилась открыть это сыну:

— Оу, сынок, соперницы всегда остаются соперницами. Это у нас всегда так. Мира между нами нет, и не может быть. Зализываем вечно незаживающие раны.

И у меня тоже, когда я была младшей женой, накопилось в душе немало обид, о чем ты и знать не можешь.

Так говорила Улжан любимому сыну.

В эту минуту вошли, громко разговаривая, весело посмеиваясь, старший брат Абая — Такежан и мулла Габитхан. С их приходом в доме стало шумно и весело.

Абай был моложе Такежана на два года. Весельчак и балагур, семнадцатилетний Такежан дружил с муллой Габитханом, и хотя тот был намного старше, держался с ним вольно, словно ровесник, дружески подшучивал над ним. Потешался он над тем, как ученый татарин разговаривает по-казахски. Габитхан был еще довольно молод, несколько лет назад он бежал от царской солдатчины и появился среди казахов округа Каркаралы. Попал в один из аулов рода Бертыс, родственного с Иргизбаем. И в тот год, когда справляли тризну по Оскенбаю, отцу Кунанбая, молодого муллу представили ему и попросили, чтобы он взял его под свое крыло.

Несмотря на молодость, татарин Габитхан оказался изрядно образован, Кунанбай остался им доволен и после годового аса по Оскенбаю приблизил муллу, оставил жить у себя. У него был доверчивый легкий нрав, он был смешлив и остроумен, изысканно вежлив. Пришелся всем по душе, его любили и стар, и млад, уважали за ученость, разговаривали с ним почтительно, и только избалованный Такежан позволял с ним вольные шутки.

В доме старших матерей вечерами мулла Габитхан рассказывал из «Тысячи и одной ночи». Сегодня после вечернего чая он стал продолжать сказку о трех слепцах, которую начал рассказывать вчера. Но и в этот вечер ему не удалось закончить ее. Рассказ был прерван громким топотом подскакавшего к дому коня. Все обернулись к двери и стали гадать:

— Кто это может быть?

— Видать, очень торопится!

В дом вошел атшабар Жумагул.

Едва успев поздороваться, он начал в подробностях рассказывать о вчерашнем набеге на Токпамбет. У посыльного на левой скуле багровел рубец недавней раны. Он говорил громко, чтобы могла слышать старая Зере. Особенно азартно и увлеченно рассказывал он об избиении Божея, не скрывая того, какое это принесло удовлетворение самому рассказчику.

Выслушав о расправе над Божеем, старая Зере не поверила своим ушам и переспросила, неужели и на самом деле его отстегали плеткой. Когда Жумагул охотно подтвердил свои слова, старшая мать сурово произнесла:

— Добродетель — самое ценное, что нам оставили предки. Божей единственный добродетельный человек среди вас. А вы все, видать, совсем потеряли совесть! И ты, дурень бестолковый, — как смеешь при детях об этом молоть своим поганым языком? Замолкни сейчас же, нечестивец!

Оттого ли, что Божея в этом доме уважали и почитали как благородного, близкого человека, или сила духа и властность старой матери смутила всех — среди домочадцев воцарилась гнетущая тишина. Поступком отца восхитился — вопреки всему и всем — один только Такежан.

— Пусть знает, как ставить нам подножку! — сказал он. — Поделом ему!

Улжан гневно посмотрела на него.

— Замолчи, не злорадствуй! Упрячь зловоние своей души! — сурово оборвала она сына. — Достаточно и того, как обошлись с этим человеком другие.

При разговоре присутствовал старый чабан Сатай, прибывший вместе с Жамагулом. Сперва он молча слушал других, потом и сам вмешался.

Он рассказал, что днем, когда пас овец, видел человек десять верховых, подъехавших к мазару Кенгирбая. Среди них были Божей, Байсал и Байдалы. Они помолились, долго стояли у могилы, потом сели на коней и уехали в западном направлении. Сатаю удалось поговорить

с одним из отставших от группы джигитов. «Божей со своими людьми едет в Каркаралинск подавать жалобу на Кунанбая. По дороге они свернули на мазар Кенгирбая, помолиться духу предка», — сообщил тот.

Жумагул после новостей объявил о причинах своего внезапного приезда в аул. Назавтра Кунанбай тоже собирается выехать в Каркаралинск. Решил взять с собой в поездку Абая, Жумагула послал за сыном.

Новость была для всех неожиданной. Выслушали ее при полном молчании.

На следующее утро, ближе к полудню, все близкие и домочадцы вышли на улицу, чтобы проводить Абая в далекий путь. Жумагул держал на поводу крепкую буланую лошадку в серебряной сбруе, под нарядным седлом. Абай прежде всего подошел попрощаться к бабушке Зере.

— До свидания, бабушка, — он обеими руками бережно сжал ее маленькую сухую руку.

Зере приникла лицом ко лбу внука, прощально вдыхая запах все еще детской родной плоти, потом благословила его:

— Да хранит тебя Аллах! Да берегут тебя аруахи предков! Счастливого пути, родименький мой, Абайжаным!

Восклицая с грустью «Кош! Кош!», взмахами поднятых рук прощаясь со всеми остальными, Абай направился к коню. Поводья его теперь были в руке Улжан, она переняла их у Жумагула.

— Подойди сюда, сынок, — подозвала она. — Бисмилла… Бисмилла… — приговаривала она, поддерживая его, когда он садился на коня.

Абай вспрыгнул в седло, подобрал полы дорожного чапана и уже собирался тронуть лошадь, но тут Улжан положила свои длинные белые пальцы на гриву лошади, придерживая ее и, видимо, собираясь что-то сказать...

— Сынок, родной мой, старшие привыкли то ссориться, то мириться. Говорят, что у соперников даже зола их очагов не дружит. Но тебе незачем вмешиваться в такие

дела взрослых. Будь от этого в стороне. Когда увидишь Божеке, с почтением отдай ему салем. Мы всегда уважали его как родственника. Кто прав, кто виноват — тебе в этом не разобраться. Пусть отец с ним враждует, но ты, сынок, всегда будь на стороне справедливости. Что бы там ни было, помни одно: нельзя терять родичей.

Абай тихо тронулся в путь. Несколько раз оглядывался назад и видел, что его матери стоят у юрты и смотрят ему вслед. Последние слова Улжан все еще звучали в ушах, и душа его болела за Божея, и представлялся он по-прежнему близким и родным человеком.

<…>

Уже прошло немало времени, как Абай с отцом приехал в Каркаралинск. Зима набрала полную силу, снег окончательно устоялся, плотно укутав землю.

Кунанбай под свою ставку снимал просторный деревянный дом с железной крышей, покрашенной в яркую зелень, находившийся в самом центре города. Принадлежал этот дом богатому купцу-татарину, большому другу казахов. Ага-султан прибыл в город в сопровождении многочисленных родственников и большого отряда джигитов. В соседних от квартиры Кунанбая городских кварталах расположились группы близких родичей ага-султана, а также его сторонников: Майбасара, Жакыпа, Каратая. В доме у Кунанбая, а также у его брата Майбасара, волостного старшины, днем и ночью толклось много народу, толмачей, стражников, атшабаров. У Майбасара вестовым по-прежнему был Камысбай, у Кунанбая посыльных было двое — кроме верного подручного Жумагула появился еще и расторопный джигит по имени Карабас, крепкий воин, надежный охранник.

Кроме них у ага-султана всегда под рукой была ватага молодых джигитов, взятых в поездку на всякий случай. В свите также было несколько иноплеменников: татарин-мулла Габитхан, кыргыз Изгутты, ходжа Берды-

ходжа, а также особая группа телохранителей-черкесов. Вся ставка занимала восемь домов.

Центр города сразу стал похож на большой аул Тобыкты. Когда юному Абаю наскучивало сидеть в доме под зеленой крышей, он свободно разгуливал по городу, навещая другие дома тобыктинцев.

Сегодня после утреннего чая он пошел к Майбасару. Был солнечный день. Подступившие к самому городу окрестные холмы сияли под ярким белым покровом. Высокие, стройные сосны пригорода стояли в пушистом снежном одеянии. Покатые горы, видимые вдали, поросшие заснеженным лесом, представлялись Абаю толпой причудливых духов зимы, одетых в вывернутые наизнанку белые шерстяные халаты-шидем. Оттуда, с севера, навеивал студеный ветерок, делая легкий морозец еще более ощутимым. Абай подвязывал наушники лисьего тымака и вспомнил, как бабушка с особенным значением внушала ему: «Всегда завязывай тымак. А то ведь недолго и уши застудить. Будешь тогда страдать, как и я», — напоминала она о своей глухоте.

«Жива ли, здорова старушка? Наверное, вспоминает про меня в такой вот морозный день или в буран», — подумал он.

Плотный накатанный снег звучно скрипит под ногами. Остроносые черные сапоги скользят на дороге. Абай одет не как подросток, на нем платье взрослого юноши-джигита. На голове лисий тымак, крытый черным бархатом. Взрослые мужчины носят шапки из лисьих лапок, молодежь же тобыктинская в последнее время предпочитает носить тымаки, сшитые из лисьих спинок. Поверх беличьей шубы на нем надет длиннополый, из черного бархата чапан в накидку, с серебристо-серым отливом. Рукава не очень длинные — чапаны с широкими проймами и длинными рукавами носят только казахи каркаралинские. Покрой воротника у них также отличается, и тымаки шьются из четырех меховых клиньев,

а не из шести, как у тобыктинцев. Подпоясываются тобыктинцы не кожаными ремнями, а шерстяными кушаками синего цвета. Абай шел по дороге, одетый как истинный тобыктинец.

На пути ему встречались пешие и конные, группами и поодиночке, иные верховые обгоняли его — Абай внимательно приглядывался ко всем. Многих он знал, это были из отряда его отца — или вновь прибывшие из степи аткаминеры, приехавшие со своими многочисленными жалобами, которые первым делом стремились попасть к Кунанбаю.

Наконец Абай подошел к дому Майбасара. Войдя в ворота, он увидел, что множество людей толпится на хозяйственном дворе перед амбаром и кладовками. Здесь-то все были ему известны, все родственники и близкие. Вон, в середине толпы, возвышается над остальными огромный, тучный Майбасар, в небрежно распахнутой белой мерлушковой шубе непомерной ширины, с багрово-серым небритым лицом. Рядом с ним Жакып, Толепберды и еще немало молодых джигитов, приближенных к старшине. И вообще, было похоже, что здесь, во дворе, собрались все тобыктинцы, кроме тех, что находились в ставке Кунанбая.

Собирались забить темно-гнедую лошадь с подстриженной гривой, торчавшей выше ее ушей. С появления Кунанбая в Каркаралинске ежедневно к Майбасару, брату ага-султана, со всех сторон пригоняли жирных баранов, отгульных кобылиц, откормленных стригунов и прочий убойный скот — в подношение Кунанбаю, по случаю его приезда в город. Майбасар, по всей видимости, как раз собирался забить одну из таких приведенных в дар кобылиц, чтобы устроить кормление для своих людей..

Всякого, кто принадлежал к роду Иргизбай, на пути в Каркаралинск и в самом городе родичи встречали и провожали с большим почетом, с обильным угощением. Иргизбаев переполняло чувство благодарности к Кунанбаю за то,

что он так высоко вознес их род. Что дал им столько новых возможностей для благополучной, сытой жизни. При виде жирной темно-гнедой кобылы чувство признательности к нему получило новое подкрепление. И разговоры, как и всегда, велись только вокруг того человека, которого они все дружно называли благодетелем, мырзой.

— Нынче поездка мырзы особенно удачна, — начал Жакип, брат Кунанбая по младшей матери, одной из токал Оскенбая.

Уже давно, по примеру истцов и жалобщиков, ездивших разбираться в окружной Каркаралинск, все тобыктинцы в знак высшего уважения и почета стали называть Кунанбая «мырзой».

— Пусть у врагов и завистников от злости сгорит все нутро! Завтра откроется возведенная им мечеть… Пусть увидят, как народ опять на его стороне, услышат, как будут его восхвалять, — с важным видом произнес Майбасар перед родичами.

— Есть за что восхвалять! Мечеть-то какая славная получилась!

— Такого красивого строения еще никто в Каркаралинске не видел! — взахлеб, вторя друг другу, восторженно расхваливали и Бурахан, и Толепберды, и всякие другие-прочие.

Приехав в Каркаралинск, Абай часто слышал слово «мечеть» и от отца, и от многих других, навещавших ага-султана. И сын понимал, какое значение имеет строительство мечети для возвышения имени, власти и славы его отца.

Первую и единственную пока мечеть в Каркаралинске и во всей округе начали строить на средства Кунанбая еще в прошлом году. Сегодня ее должны были освятить. Муллы города и старейшины всех аулов округа не переставали возносить хвалы Кунанбаю за строительство храма.

Два дня назад у Кунанбая побывал имам — мулла Хасен Саратау, благорасположенный к казахам, который высказал особой важности слова:

— Ты из простого народа, но ты возвеличился в нем, словно хан… В Коране мечеть названа «жилищем бога». Ты воздвиг дом Вседержителя среди темного, непросвещенного народа и потому стал Его близким рабом, и Он возлюбил тебя. Иншалла!

И перед множеством аткаминеров, старшин и старейшин, перед знатными людьми города имам поблагодарил Кунанбая и дал фатиху, благословение. В знак глубокой признательности и благодарности Кунанбай отправил в дом благословившего хазрета одну лошадь и одного верблюда для заклания.

Абай понимал, что его отец намного сильней и влиятельней всех остальных аткаминеров. Сын внимательно наблюдал за всеми его делами, желая понять, как он этого добивается. И все же, находясь рядом с отцом, слушая его разговоры с людьми, Абай не мог постигнуть глубинной сущности Кунанбаевской души, и отец по-прежнему оставался для него непостижимой загадкой.

Лучшие куски парного конского мяса снесли на кухню. Тобыктинцы, квартировавшие в других домах, тоже потянулись на обед к волостному старшине. Многолюдная толкотня во дворе еще более усилилась. Майбасар хотел уже вести родичей в дом, чтобы спокойно всех рассадить по местам, как вдруг распахнулась калитка, и появился во дворе расторопный Карабас, посыльный Кунанбая.

По нему видно было, что он прибыл со спешным заданием. Майбасар остановился, глядя на него в ожидании. Карабас еще на подходе изложил свое сообщение:

— Едет Алшекен! Сейчас будет у мырзы. Вот и послали меня за вами… Собирайтесь скорее! — и со значением посмотрел на Майбасара и Жакыпа. Майбасар вдел руки в рукава мерлушковой шубы, до этого свободно наброшенной на его плечи, и, ничего никому не сказав, тотчас направился в сторону ворот. Жакып последовал за ним. Абай хотел остаться, но Майбасар, проходя мимо, на ходу коротко бросил:

— Ты тоже с нами! Это же твой тесть, отдашь салем тестю.

И было непонятно Абаю, не то шутит дядя, не то говорит всерьез.

Алшекен — так уважительно называли Алшинбая, давнего друга ага-султана. Года два назад дружба между ними укрепилась сватовством: Кунанбай засватал для Абая совсем юную Дильду, внучку Алшинбая. Таким образом, он и на самом деле должен был стать тестем Абая.

С приездом Кунанбая в Каркаралинск Алшинбай уже не раз навещал его. Все старшины округа произносили имя Алшинбая с большим почтением. И его имя иначе как Алшекен не произносили. Алшинбай был сыном известного бия Тленши, предком которого был Казыбек-бий. Таким образом, невеста Абая, Дильда, оказывалась весьма знатного происхождения. Калым за такую невесту, соответственно, был немалым: большие косяки лошадей и стада верблюдов уже перегнали от Кунанбая в аул Алшинбая. Многие предполагали, что не только сватовство соединило этих двух могущественных владетелей, сделало их закадычными друзьями.

Поэтому Майбасар и Жакип и остальные родичи ага-султана при первом же упоминании о приезде Алшинбая готовы были бежать к нему на поклон.

Майбасар по такому случаю всегда настраивался подразнить племянника.

— Ну и тесть у тебя! Самая важная птица по всей округе. К нему запросто не войдешь — в дверях еще надо низко пригнуть голову, — говорил он по дороге, оборачиваясь к Абаю и посмеиваясь.

Подобные шутки и намеки привели к тому, что Абай стал избегать Алшинбая, когда тот приезжал к отцу. Но в прошлый приезд отец и Алшинбай позвали юношу в комнату, где они сидели, и оба попеняли ему за неуместную стеснительность. И все же этот будущий тесть, из-за которого Абаю, — чувствовашему себя уже не ребенком,

но джигитом, — приходилось смущаться и скрываться, словно молодой невесте в ауле, — Алшинбай почему-то был ему не по душе.

Все эти любители подшутить над ним, бесконечно повторяя слова — «жених», «невеста», «свадьба», «тесть», «теща», — отвратили его от самой Дильды, и всякая мысль о ней была ему неприятна. Он вообще не хотел представлять ее как «невесту»…

Но сейчас, когда они идут небольшой кучкой родственников по улице, у Майбасара вдруг исчезла его насмешливость, и он заговорил, взглянув на него весьма серьезно.

— Послушай, я все собираюсь поговорить с тобой кое о чем, без шуток, — сказал он. — И не дуйся, дорогой мой, ведь ты давно уже не ребенок. Вон какой вымахал, совсем взрослый парень, и ты должен понимать, что не зря гонят от нас в аул Алшинбая целые табуны… Вот закончатся празднества по случаю освящения мечети, тогда будет с тобой особый разговор… Понимаешь? Когда поедем из Каркаралы в аул Алшинбая, я тебе кое-что объясню...

Абай, как всегда, ничего не ответил Майбасару. Тут вмешался Карабас:

— Ты думаешь, что наш Абай ничего не соображает? Еще как соображает! Лучше многих других. Ну что, правда, Абайжан?

— Не вступайся за меня, Кареке! Хоть ты помолчал бы. Промолчишь — считай, коня мне подаришь. — Сказав это, Абай одной рукой обнял за плечо Карабаса.

С этим молодым джигитом Абай привык вести себя свободно, не то что с Майбасаром. Карабас был ясный, бодрый, веселый человек, Абай любил пошутить с ним.

— Закончатся дела, скажу тебе то, что обещал сказать. Разговор обязательно будет. Еще какой разговор, парень! — повторил Майбасар, напуская загадочности своим словам.

«Наверное, хотят ускорить свадьбу… Уж теперь не до шуток», — невесело подумал Абай. Он сразу изменился в лице, ему стало тревожно. Отчего? Он сам не понимал. Если разговор заходил о его предстоящей свадьбе, ему сразу становилось не по себе. В душе поднималось беспокойное, неприязненное чувство. К кому? Неужели к Дильде, которую он никогда и не видел? Но если не к ней, то, несомненно, к имени «Дильда». С этим именем связывалось у него представление о чужой навязанной воле, о ненавистной брачной узде.

Но не может Абай ответить Майбасару, одному из старших своих родичей, неприязненно или дерзко. Он лишь нахмурился и сердито сверкнул глазами в его сторону.

Перевод Анатолия Кима.

Олжас СУЛЕЙМЕНОВ

ЯЗЫК ОТЦОВ, ЯЗЫК ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Язык отцов, язык тысячелетий,
Ты временем, как глина, обожжён,
В тебе — удар меча и посвист плети,
Мужская гордость и горячность жён,
В тебе звучат забытые наречья
Шумеров, гуннов, хрип монгольских слов.
Где ты рождён?
В пожарах Семиречья?
Тебя по жилам к нам перенесло.
И ты звучишь, переполняя тело,
Ударом сердца, колоколом дум,
И как меня судьбою б ни вертело,
Клянусь тобою — я к тебе приду.
Так из далёких и счастливых странствий
Приходит сын к забытому отцу,
Приходит в ярком, дорогом убранстве,
В начале жизни или же к концу.

* * *

Мне интересно угадывать
В детях линии взрослых.
Этот мальчишка будет
Рослым, горячим мужчиной.
Любит, наверное, малый
Мясо в приправах острых.

И переходит дорогу,
Не уступая машинам.
Девочка эта будет
Женщиной несчастливой.
Слишком блестят под прядью
Спелые чернослив.
Ай, не гляди, девчушка,
В бритые наши лица:
Твой пятилетний парень,
Не понимая, злится.

КЫЗ-КУУ

Догони меня, джигит,
Не жалей коня, джигит,
Если ты влюблён и ловок,
Конь умрёт, но добежит.
Догони же,
Поцелуй,
Голос от стыда дрожит,
Среди этих звонких струй.
Меня ветер догоняет,
На груди моей лежит,
Обнимает, обнимает,
Ой, зачем отстал, джигит!
Издевается луна,
Я одна,
Опять одна,
Мои руки побелели,
Кровь на крупе скакуна.
Злые люди,
Злые люди,
Вы обидели меня.
Дали смелому джигиту,
Дали сильному джигиту
И красивому джигиту
Ишака,
А не коня!..

* * *

Когда на тёмных окнах тает ветер,
Мне хочется кому-нибудь поклясться,
Хоть чем,
Хоть в чём,
Любовью иль в любви.
Такой уж ветер,
Тёмный, белый вечер.
Зайди хоть кто-нибудь,
Любой, любая — встречу.
Всё будет как признание в любви.
Я обогрею, накормлю, сыграю,
Зайди хоть кто-нибудь —
Я не скрываюсь.
Да, да, хоть ты, хоть он —
Я не скрываюсь,
Но, может, всё же вы зайдёте?
Вы.

О СВОЕЙ ПЕРВОЙ МАЛЬЧИШЕСКОЙ СТРАСТИ

Нет, мне не было даже двенадцати лет.
Детство, лето, далёкий тыл.
Домик,
Грохот и скрип пароконных телег,
Зной, сады, погружённые в пыль.
И весёлая женщина в нашем дворе.
Квартиранткою звал её дед,
Мои щёки с утра начинали гореть,
Нет, мне было тринадцать лет.
Я смеялся, когда улыбалась она,
Я болтал, когда не было слов,
И когда у ручья умывалась она,
Я мальчишек гонял из кустов.
Всё давно,

Но сейчас вспоминается мне —
Ночь, саманный, без ставень, дом.
Я стоял, прислонившись к белёной стене,
Под весёлым её окном.
Он вернулся с войны —
Это я понимал,
Но она обнималась с ним.
Он, проклятый, её на руках поднимал,
И она целовалась с ним.
Я не знал, почему мои руки дрожат.
За окном тишина,
Темно.
Лёгкий шёпот,
Э-э, как тут себя удержать.
Я ударил камнем в окно.
Кто-то выбежал:
— Ты?
Я смотрел ей в глаза.
Как во сне мне хотелось кричать.
И тогда я, мальчишка, впервые сказал:
— А-а, пошла-ка ты, так твою мать!..
И она оттолкнула того:
— Уйди.
Это деда Назара внук...
И прижала к распахнутой тёплой груди:
— Ах, мой маленький, добрый друг...
Детство, детство забыто.
Да, время летит.
Но мне трудно бывает с тобой,
Когда мальчик соседский на нас поглядит
С непрощающей детской тоской.
Он стоит, прислонившись к белёной стене,
Черноглазый, угрюмый, злой.
Свою первую нежность отдаст он тебе,
Своё детство, сады,
Зной...

ВОЛЧАТА

Шёл человек.
Шёл степью, долго, долго.
Куда? Зачем?
Нам это не узнать.
В густой лощине он увидел волка,
Верней, волчицу,
А, точнее, мать...
Она лежала в зарослях полыни,
Откинув лапы и оскалив пасть.
Из горла перехваченного плыла
Толчками кровь, густая, словно грязь.
Кем? Кем? Волком? Охотничьими псами?
Слепым волчатам это не узнать.
Они, толкаясь и ворча, сосали
Большую неподатливую мать.
Голодные волчата позабыли,
Как властно пахнет в зарослях укроп.
Они, прижавшись к маме, жадно пили
Густую холодеющую кровь.
С глотками в них входила жажда мести.
Кому?
Любому.
Лишь бы не простить.
И будут мстить
В отдельности,
Не вместе.
А встретятся —
Друг другу будут мстить.
И человек пошёл своей дорогой.
Куда?.. Зачем?..
Нам это не узнать.
Он был волчатник,
Но волчат не тронул,
Ребят уже не защищала мать...

Фариза УНГАРСЫНОВА

* * *

Какое счастье —
Говоря без слов,
Одним лишь взглядом
В тайное проникнуть,
Читать любви нечитанную книгу,
Где наслажденьем дышит каждый слог.

Какое счастье —
Разум приглушив,
Изведав страсти жаркое блаженство,
С хваленой независимостью женской
Сказать: прощай!
И... слезы лить в тиши.

Какое счастье —
Не смыкая глаз,
На чудо невозможное надеясь,
И день и ночь в печали холодея,
Все ждать и ждать,
Что ты войдешь сейчас.

Какое счастье!...

* * *

Ты ушел. Опоры нет отныне.
А всему виной моя гордыня.
Мне кручина выела глаза.
В сердце бунт, как будто смерч в пустыне.

С гор не тянет вольною прохладой,
И пожухли травы в час проклятый.
Ведь одно томило нас! Оно
Обернулось темною расплатой.

Суть не в пошлом счастьице...
Как странно...
Взор к тебе направлен неустанно.
С кем теперь мне петь под стон домбры,
Душу разверзая покаянно?

Но качаться в злой тоске невмочь я.
Иль к тебе ворваться тяжкой ночью,
Увести тебя оттуда прочь,
Жалкий сон твой разрывая в клочья?

Сердце в тучах бьется одиноко.
Ты изведал тоже бед премного.
И тебя свербит обида, друг:
Все нутро — подобие ожога.

Как смеяться, если слез мы стоим,
Если непокорно дух устроен?
... Хорошо, что есть на свете тот,
Кто обиды искренней достоин.

* * *

Когда, когда, когда его увижу?
Ответь, моя надежда, не глумись!
Как в этой пытке ожиданья выжить?
Глотать до коих пор мне
сердце, мысль?
До коих пор
мне вне его объятий
Помешивать отраву темных строк?
До коих пор тоске моей проклятой
Волчицей выть?
До коих пор комок
Бессилия,
как траурный замок,
Мне сердце будет запирать от мира?
До коих пор
платить мне страсти дань
И немотою раздирать гортань?
Что людям мило —
мне давно не мило.
О, кто-нибудь,
приди с любым лекарством,
Полезным для издерганной души!
Другие бродят в ласковой тиши
И наслаждаются зеленым царством
Прохладных парков...
Что же я в слезах?
Беременна тоскою по нему я
Который год...
Свою беду немую
Ношу в своих измученных глазах.
Смерч молний августовских — в сердце бедном.
Как разогнать нагроможденья туч?
Батыр плененный, крутоплеч, могуч,
Но связан — путь борьбы ему заказан!

Со мною то же: очи — словно меч,
Нутро — огонь, да не рассечь, не сжечь:
Им, только им, мятежный дух мой связан.
Бьюсь о бураны я, в степи бредя,
Но упаду, лишь до него дойдя!

ИСПЫТАНИЯ

Скажу: «Не верю сорванным цветам —
Сорви хоть все цветы высокогорья...»
Я — счастлива: любовь в твоем укоре,
Но отвернусь и виду не подам.
Есть равнодушье, склонное к искусству.
Есть безразличье — взрослая игра.
Я отвернусь — под сердцем станет пусто,
Но ты не верь — душа моя добра.
А можешь разувериться, пожалуй.
Звони. Стучи — я не открою дверь
И, к телефону кинувшись, устало
Скажу, любя: «Любви моей не верь».
Отныне станет боль твоя — безмерна.
Сама изнемогаю от игры:
Я холодна, страшусь прослыть неверной,
Когда душа и помыслы добры.
Мне ль не понять твое недоуменье,
Наедине с тобой и в отдаленьи.
Не веришь, что люблю тебя — не верь.
Хочу поцеловать тебя — не верь.
Неверью моему, прошу — не верь.
Я знаю: в мой тяжелый час сомненья
Ко мне пройдешь ты сквозь любую дверь.

МОНОЛОГ ЖЕНЩИНЫ

В твоих объятьях, в полузабытьи,
Сердца слились в одном согласном стуке,
И отступили все иные звуки —
Был мир велик, но были мы одни.
Зажмурившись, я думала, что зренье
Мгновенное отнимет озаренье —
Пойди его попробуй, догони!

А миг любви тянулся до зари,
И ты молчал, молчанием чаруя,
Я задыхалась в пекле поцелуя
И только помню, будто говорю я:
«Скажи — люблю! Нет, нет, не говори!»

Когда явился звук твоих шагов,
Тебя должна была я видеть рядом,
Глаза раскрылись, и, встречаясь взглядом,
Мы перестали верить в силу слов.
О счастье жизни с истиной простою:
Суровая, я стала добротою,
Когда меня заполнила любовь.
Как быстро дни прошли, ты изменился.
Зачем мне было открывать глаза —
Открылся выход горю и слезам,
И крику, что в глуби души таился.
На волю вырвалась тоска-печаль…
Ты словно за косы отбросил вдаль,
Где жизни бурный океан открылся.
Как много ты в объятиях унес:
Сначала мира серую невзрачность,
И ночь любви, и светлых чувств прозрачность,
И даже горечь первых горьких слез,
Которые тебя вернуть хотели,
Но постепенно ночи опустели.
Мне бог простит исчезновенье грез.

ПЕСНЯ МАЙРЫ[1]

Жиреют слухи о Майре,
Толпой гуляя по Кереку.
Затычкой быть в любой дыре
Живому тяжко человеку.

Талант — порок, краса — вина.
О боже! Кто же в самом деле,
Когда пою всю ночь без сна,
Во тьме души добычу делит?

Меня же хоть огнем сожги,
Из пепла встану песней новой.
Сородичи или враги —
Самозабвенные злословы?

Ползущий в гору так нелеп,
Но хочет жадный славы с гаком.
Неужто мой народ ослеп,
Что клячу кличут аргамаком?

За мной, за пылью ног коня
Не поспевал в степи просторной.
Теперь судья —
судить меня
Готов со всею прытью вздорной.

Поющих правду били влет.
Народ, стеная или плача,
Цепь птицам вольности кует,
Когда кочевьем правит кляча.

Перевод Татьяны Фроловской.

[1] Майра Уалиева — певица, композитор, жившая в XIX веке.

Абиш КЕКИЛЬБАЕВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

С самого раннего рассвета он ехал по безлюдному пустынному плоскогорью. И только теперь он смог напоить коня, спешившись у древнего колодца в каменистой ложбине. Видно, давно в этих местах не появлялись люди. Кое-где вокруг колодца валялись на земле засохшие овечьи катышки. И астау, деревянное корыто, рассохлось и потрескалось. Сюда, видимо, иногда заходят проходящие мимо караваны и случайные путники, под астау нашлось припрятанное старое кожаное ведро.

С южной стороны колодец оброс низкими кустиками верблюжьих колючек, с северной стороны далеко протянулась ложбина с крутыми склонами, в густой кустарниковой растительности которой могли спрятаться кто угодно: и воры, и волки, и мелкие звери. Тщательно просматривая все укромные места этой ложбины, путник поднялся по тянущейся вверх тропинке, и она привела к колодцу. В ложбине было много мест, где могли бы схорониться лихие люди, но ничего особенного не бросилось ему в глаза.

Крупного сложения чернобородый путник ехал на приземистом вороном с густой гривой, толстыми ногами, время от времени оглядываясь назад, словно прослеживая за камчой, слегка оглаживающей круп коня. Спешившись у заброшенного колодца, путник некоторое время внимательно оглядывал местность своими боль-

шими, покрасневшими от степных ветров и пыли глазами. Айкел, каменный оклад вокруг колодезного устья, был едва заметен, глубоко уйдя в истоптанную землю. Напоив коня, путник поехал дальше.

Вороной шел спокойной размеренной рысью. Как ненадежны дороги безлюдной степи! После того как путник отъехал от колодца, узенькая тропка скоро затерялась в густой заросли тугая, и он заблудился. Невозможно было отыскать дорогу на этом диком плоскогорье, куда словно бы не ступала нога человека.

Похоже, недавно прошел дождь. В блеклой от пыли степи, выжженной иссушающим солнцем, появились редкие яркие зеленые ростки. Стелющийся жусан, корнями вцепившийся в землю, как ящерица, вновь чуть приподнялся над землей. Дружно поднялась мелкая травка, вдоволь впитавшая влагу с тех пор, как прошел дождь, а со вчерашнего дня пришло вёдро.

Путник спешился, взял в руки удила, отвязав от седла темно-коричневую домбру, откинул ее на траву. Сейчас лучи солнца приятно греют. Несколько дней перед холодами октября простоят вот такие теплые дни бабьего лета. Путник подошел к своей домбре и лег на спину. Вороной, пущенный пастись, хрумкает, щиплет траву, изредка пофыркивая. Путник поднес широкую, как лопата, руку к подбородку и длинными, набухшими в суставах, покрасневшими пальцами прошелся от виска до шеи по густой, спутанной бороде. Он заметил на краю синего неба клочок полупрозрачного белого облачка. Сейчас об эту пору уже нет обманчивых миражей, витающих над степью. Горизонт отдалился, все ясно видно. Оказывается, душа человека, вышедшего из тесной тюрьмы на широкий простор, радуется свободе чистой радостью, как то белое одиноко летящее облачко в небе.

Теперь, добравшись до вольной, безлюдной степи с серым типчаком, он наконец обрел душевный покой. И конь скачет исправно, и дорогу почти всю осилил. Он спешил к своей трехканатной лачуге, расположенной да-

леко от жилья других людей. Раньше, в смутные времена, когда жил беспокойной жизнью, он и не замечал, что имеется в его доме, и чего нет. Когда он находился далеко в изгнании и тосковал по дому, то перед глазами представало в своем первозданном виде все — белые, гладкие барханы Азгыра, зеленые высокие травы между Едилем и Кигаш, твердь Устюрта с черным жусаном. Но он не мог представить себе толком ничего из вещей в своем доме — ни убранства юрты, ни одеяла, ни посуды — словно не было и одного дня, который он провел в семье, с детьми.

Когда высылали его в Сибирь, то среди родственников, которые пришли проститься, в широкоскулом мальчике с большими, выпуклыми глазами он узнал своего сына Кази. Удивился, что тот настолько вырос. Оказывается, он и не заметил, как рос его сын, и когда начал ходить, разговаривать. Он месяцы-годы проводил вне дома, и когда, соскучившись, возвращался домой, оказывается, даже ни разу не погладил сына по голове.

При воспоминании об этом его покидает обычная сдержанность, и в душу вселяется покаянная слабость. Но это и не раздирающее душу отчаяние, которое, словно острый коготь, терзает сердце. Там воцаряется пустота, у него тускнеют глаза, и вся его крупная заметная фигура сникает, как будто съеживается. Большие глаза сужаются, словно от внезапной боли, и он пристально вглядывается вдаль, словно на самом краю земли видит свою одинокую лачугу. Но не может вспомнить ничего из того, что было в этой лачуге.

Он начинает прислушиваться, и словно слышит вой сибирской пурги. Но лютый сибирский мороз поглощает все звуки этого мира, даже вой пурги. Не слышно каркающих ворон. Сквозняк выдувает все тепло через дыры и щели деревянного барака. И вот уже нет ветра. Один мертвый холод. И лишь крикливые жандармы от рассвета до поздней ночи не закрывают свои рты. Но люди в бараках острога к этому привыкли. Молча слушают то, о чем кричат те, которым и положено кричать по службе.

Сосновая домбра, которую он смастерил, когда оказался на каторге в сибирских краях, всегда стояла в углу барака возле его нар. Он не часто брал ее в руки. Но если брал, — этот мертвый дом острога, в котором обычно не раздавалось ни единого радостного звука, вдруг оживал и ярко освещался музыкой... В его груди рождались мелодии, заставляющие забыть все на свете. В таких случаях ему кажется, что иной мороз — степной, лютый — щиплет его лицо, вонзает в тело свои синие когти. Только что спокойно лежавшая под ногами белая пороша взлетает, клубится и летит ему в лицо. И слышится шелест — шелест оставшегося в безлюдной степи ивняка на ветру. Слышится вой голодного волка, появившегося из-за холма на его вершине. Слышны гулкие, хлесткие звуки соилов, с силой скрещивающихся в воздухе... Ржание лошадей. Много разных звуков, гулов, шумов. Он все это степное, знакомое, слушает внимательно, с интересом.

И вдруг снова ослепительно белый снег, дремлющая сибирская пихта в снежной шубе и сосны — и опять все это преображается в глазах, плывут перед ними дождевые облака, закрывающие все широкое степное небо и проливающиеся сильным ливнем на степь. Вот проносятся табуны испуганных лошадей, топот копыт которых слышится в ночи, когда нападает враг. Он словно видит и взмахи курука, и торчащие, покрытые инеем усы, со злостью уставленные на него глаза. Эти звуки и видения доходят до него, то смешиваясь, то вдруг вырываясь отдельным одиноким звуком. Он словно начинает дремать, веки смеживаются. И те сбивчивые видения, и многообразный шум все больше проясняются в звуках домбры и раздаются все более отчетливо. Скачут лошади. Бежит горная река. Путник едет по бесконечной дороге.

Стоило ему только остаться наедине с собою в острожном бараке, его одолевали самые разные мысли. Когда острожники возвращались в казармы из лесу, где они рубили лес, то не было никого из них, кто держался бы

стойко и не унывал. А у него сразу распрямлялись плечи, он и шутить принимался, и громко смеялся, поблескивая черной, как сибирский каменный уголек, окладистой бородой. Он какое-то время согревал, засунув за пазуху, застывшую в промерзлом бараке домбру, у которой на холоде оседал звук. Потом сосредоточенно принимался настраивать домбру. Все острожники, молча лежавшие на нарах и смотревшие в потолок деревянной казармы, при первых звуках домбры, поворачивали головы к нему. Он сначала резко и гулко ударял по струнам домбры. И только тогда, когда дека домбры начинала отзываться живым теплым звуком, он, повернув к острожникам-слушателям длинный гриф домбры, прокашливался, прочищал горло. Несколько раз пробегал кончиками пальцев по струнам. И вот рождалась музыка. Словно боясь спугнуть чудесную мелодию, извлекаемую из домбры, и желая ее поддержать голосом, певец негромко начинал напевать. Присутствующим, услышавшим его тихий, взволнованно звучавший голос, казалось, что этот огромный матерый человек чист душою, как ребенок. «Эх, красный изень Арки!» Хотя некоторые понимали, а остальные вовсе не понимают слов песни, но у всех затуманивались лица, на глаза набегала печаль. В холодном бараке, провонявшем едким запахом махорки, становилось тихо. А певец все пел и пел. Через какое-то время голос смолкал, и принималась говорить домбра.

Он играл печальную, задушевную мелодию, понятную всем. Чем далее он играл, тем более светлело его лицо. Ресницами прикрыты глаза. Теперь только стало видно слушателям, что его широкий лоб покрыт множеством морщин, следами бурно прожитых дней и лет, что волосы на висках поседели, горестно обвисли уголки губ. Руки с набухшими венами, сморщенные, кажутся усталыми, будто они вот-вот опустятся без сил. Вдруг музыкант широко открывает глаза. На кончике усов повисает едва заметная лукавая усмешка. Пальцы начинают быстрее перебирать струны. Когда он резко пово-

рачивает голову на шею, видно, как торчит его острый кадык и под горлом набухают вены. В больших глазах вспыхивают искорки. Мелодия набирает силу, нависшие, косматые брови на его лице бойко шевелятся. Он весело, молодецки водит глазами вокруг, будто собирается каждого прожечь насквозь взглядом. Отекшие большие пальцы пробегают по струнам, извлекая неистовые звуки, которые льются и льются, словно водопад. И вот через какое-то время быстрые пальцы замедляют свой бег, словно их покидают силы. Снова бросается в глаза слушателей множество морщин на лбу, возле глаз, и проседь на висках певца. Кюйши отбрасывает домбру на свой матрац, набитый стружками. Души суровых каторжников, слушающих кюй, растревожены, растроганы, и кажется, что вот-вот они разразятся слезами раскаяния, крупными, как орехи. Кюйши остается сидеть с безразличным видом возле тускло светящейся лампы.

Как-то после такого вечера ему приснился сон. Теневая сторона его юрты. Мать наливает и подает ему айран. Дубовая куби, кадка с двумя ручками, в котором квасили айран, остро пахнет кислым обратом. К нему подошел маленький сын, Кази. Он хотел понюхать его лоб, вдохнуть запах родной плоти, поцеловать взлохмаченный маленький чубчик. Волосы мальчика, постоянно бегающего без головного убора, пропахли солнцем. Он хотел прижать его к груди: «Жеребеночек мой!»... Но черный тулуп, которым он укрывался, сполз, и он проснулся оттого, что замерз. Поднял упавший на пол тулуп, снова укрылся. От засаленного ворота тулупа несло терпким потом.

С тех пор в его душу закралась тюремная тоска, он ходил сам не свой. От той тоски избавился, только выйдя на свободу. Раньше он чувствовал душевную подавленность от вида беспредельных, безлюдных далей Арки. Бескрайняя степь, бесчисленные стада овец, скромный чабан, не сразу бросающийся в глаза среди всего этого громадного простора. Однообразная жизнь без всплесков, без пере-

мен. Кажется, что в этой степи уже иссякли все песни и кюи. Даже свежий степной ветерок, и тот порою пропадал, иссякал. Но именно в такие мгновения его грудь распирали кюи, наполненные гневом, досадой. И именно эти гневные кюи отдалили его от людей, они же дали властям повод для надзора и слежки за ним...

С тех пор как он вышел из острога, на душе стало чуть легче. Но не так, как бывало раньше, когда приходило вдохновение. Тогда он обостренно, ясно слышал шелест сухой травы осенней степи под копытами коня и посвист степных тушканчиков, греющихся в лучах последних солнечных дней. Оказывается, в безлюдной степи так далеко разносятся все звуки. Он словно теперь только понял, что в жизни степи таится своя мелодия. До сегодняшнего дня он не замечал этой музыки степи, довольствуясь напевами, звучащими в его груди. И в косяке лошадей, прошедших длинным строем на водопой, и в овцах, пасущихся на склоне врассыпную, и в одиноко стоящем в стороне от отары чабане — во всей этой картине степи есть до сих пор не замеченная им гармония, особое течение жизни. И равнина лежит величаво. Волнообразно колышутся, радуя глаз, верхушки трав, которых еще не касались зубы животных.

С тех пор как вышел в дорогу, он оглядывал окрестности, не отрывая взгляда. Вчера после полудня пришла новая мелодия, которую он не знал раньше, не слышал. Она не похожа на прежние мелодии, страстные, бурные, внезапно сменяющие темп и ритм. Спокойная мелодия, не быстрая, словно разглаживающая и врачующая расцарапанную гортань, задетую злым отчаянием, колючей тоской. Проявляется мелодия постепенно, течет тихо, а не выливается-выплескивается бурно, как раньше. Он посмотрел в сторону Кыблы. Державшаяся весь день туманная завеса к вечеру стала постепенно рассеиваться. Сквозь эту редеющую завесу стало что-то виднеться, белея. Не в одном месте белеет и не в двух. Если некоторые белые пятна были мелкими, то другие несравнимо

крупнее. Среду всех белеющих пятен объединяет воедино густо-синее сплошное марево. Он подумал: «Уа, это, наверное, горы. Похоже, это и есть Алатау». С детства он много слушал старые дастаны «Алатау Азирета». Он долго смотрел на высокую вершину, куда не достигало густое синее марево, глаза заслезились... Но прервалась эта мелодия, которая только-только начинала зарождаться в сердце. Он еще долго смотрел в ту сторону пространства, не отводя взора.

В таком состоянии глубокого раздумья он проделал довольно значительный путь. Через какое-то время, когда он очнулся от своих дум, то заметил, что просторный окоем еще более расширился. Марево в стороне гор сгустилось и припало к земле. Исчезли белеющие снежные вершины. Солнце уже давно село. Сплошное марево, обступающее со всех сторон горы, стало сливаться с сумерками неба. Кюйши вздохнул. Не прикоснулся камчой к крупу медленно бредущего коня, не побеспокоил ни его, ни своих мерно текущих мыслей. С наступлением сумерек вороной сам прибавил шагу. Почувствовалось и дуновение свежей предночной прохлады. В сердце вновь вернулась та прервавшаяся мелодия. Вроде бы и не совсем такая же, как днем, однако в той же теме, — не столь спокойная, умиротворенная, но в этот раз умиротворенная и грустная, словно глубокий вздох тихой печали. И напев не прежний, чуть более светлый и плавный. Обернувшись в седле, посмотрел на домбру, притороченную сзади. Ему не терпелось взять ее в руки. Наиграю в том месте, где остановлюсь на ночлег, решил он.

На закате вдали он увидел пасущуюся отару овец. Значит, где-то близок аул. Торопливо поднявшись на вершину холма, он бросил взгляд окрест. Вороной под ним без конца фыркал и прядал ушами. Но не видать ничего. Кажется, не слышно даже собак. Сейчас такое время года, что огонь не разжигается снаружи, возле дома. Он принюхался, нет ли запаха дыма. И запаха не чувствовалось. Вдруг вороной зафыркал сильнее. Показалось, что

впереди что-то чернеет. Он приблизился к этому, несмотря на то, что вороной пугливо озирался. Верблюд. Тот повернул голову на длинной прогнутой шее и посмотрел на него. Путник подъехал ближе и подал голос. Верблюд сошел с места и направился в сторону. Путник последовал за ним. Верблюд шагал широко и протяжно ревел. Оказалось, дойная верблюдица.

Маленький аул из трех-четырех юрт приютился на южной стороне черной гряды. Аруана подошла к средней серой юрте и остановилась, широко расставив ноги. Он тоже подошел к той юрте и крикнул:

— Э-э! Есть кто-нибудь?

Из дома доносятся невнятные голоса. Вдруг, откинув скрипнувший полог, кто-то вышел из юрты. Женщина. В руках ведро. Подойдя к брюху аруаны, прежде чем нагнуться, спросила у человека, кто он.

— Путник, случайный гость, посланный Богом.

Женщина сказала:

— Тогда спешивайтесь, переночуйте.

Внутри юрты, войлок которой еще не успел прокоптиться, показалось, что просторно. Он остановился у порога, сразу ничего не различив из-за дыма очага. Только после того как несколько голосов со стороны тора наперебой ответили на его приветствие, он воткнул камчу за деревянную решетку кереге, разулся у порога и прошел к тору. Домбру прислонил возле себя к стене. Пока развязывал пояс и устраивался поудобнее, глаза постепенно привыкали к едкому дыму. Он огляделся вокруг. Повыше него кто-то лежал, подложив под бок пуховую подушку. Рядом с ним сидел аксакал в бархатной тюбетейке и пристально всматривался в него. Кто-то подбросил под треножник с висящим казаном сухого хворосту, пламя взметнулось выше крышки казана и ярко осветило вокруг. Со стороны кухонной утвари он увидел байбише в высоком, остроконечном жаулыке. Она повернулась к старому потертому кебеже с давно потускневшим узором и стала копошиться в нем. С правой стороны от очага, возле чер-

ного чайника, приткнувшегося боком к огню, сидел мальчик одиннадцати-двенадцати лет. Он подвернул руликом штанины шаровар выше колен. Подбрасывал в огонь по одному суку дров из сложенной кучи дров. Байбише повернула голову от кебеже, открыла крышку казана, подула на сразу же вырвавшийся пар и с плеском сбросила что-то в кипящую воду с темного блюда.

Старец в тюбетейке, суетливо пошевелившись, молвил:

— Е, путник, рассказывай, кто ты, откуда.

Вошла женщина, подоившая верблюдицу. Она поставила ведро возле байбише, взяла кумган, тазик и подошла к сидевшим, чтобы полить им на руки. Путник, чуть приподнявшись и присев на одно колено, вымыл лицо и руки. Вытираясь, сказал, откуда держит путь. Перед ними расстелили дастархан. На остальные вопросы старика ответил, когда стали пить чай. Человек с черными усами, сидевший со стороны старика, молча слушал. Изредка прихлебывая чай, посматривал на него. По открытому вороту, по черному плюшевому приталенному бешмету, по тюбетейке с кисточкой было видно, что он не из местных степных казахов. Он не раскрыл рта, с тех пор как пришел гость. Сидит важно. И взгляд надменный. Когда путник сказал о том, что он возвращается из тюрьмы, светлолицая байбише, не поднимавшая глаз от своей кесушки, вскинула голову. Она пристально вгляделась в него, вытаращив глаза и отодвинув край платка, спадающего на глаза. Когда он сказал, что его родина там, на западе, она безмолвно пришлепнула губами. Та женщина, что поливала на руки, оказалась келин этого дома. Заняв место мальчика, поддерживавшего огонь под очагом, она стала разливать чай. Келин сидела боком и была единственным человеком, кто не принимал участия в разговоре. Мальчик перешел и присел возле байбише. Вытягивая из сложенной кучки один сук, он тоже удивленно посматривает на гостя. Похоже, что парнишка никогда не видел такого путника, одетого с ног

до головы в серо-желтую мешковину. Смотрит на него пристально и наклоняется к никак не разгорающемуся огню, начинает дуть и сопеть, словно соревнуясь в терпении с влажным шипящим суком.

— Расскажите о себе тоже, — попросил путник.

— Е, мы из обычных стариков этой местности, — ответил аксакал, усмехнувшись, надкусывая сарсу, овечий сыр, взятый с дастархана.

Теперь только вмешался в разговор смуглый с черными усами.

— Имя этого человека Донбай. Наши люди называют его Донбай-би. Вы из дальних краев, наверное, поэтому не слышали о нем.

Старик снова усмехнулся. Подняв голову от кесушки в руках, произнес:

— Как-то раз участвовали мы по-родственному и в разрешении спора между двумя большими аулами. Если в те времена мы были уважаемыми людьми степи, теперь стали товарищем кочерге и крутимся возле своей бабы.

Путник посмотрел на старика долгим взглядом. Видно, что светлолицый старик когда-то был красивым. Из-за седых бровей, редких усов, удлиненной реденькой бородки трудно определить его возраст. Лицо еще чистое, если не считать нескольких морщин под глазами. В карих глазах, не смотрящих на собеседника прямо, чувствуется, что он человек сдержанный. Изредка сам по себе чему-то усмехается. В облике чувствуется присущая тем, кто постоянно находился на людях, уверенная властность, теперь, впрочем, сменившаяся на холодное равнодушие. Все движения вялые. И кесушку подносит к губам нехотя. Но держится с достоинством. Сидевший рядом с ним смуглый с черными усами все время шевелится, вертится, гоняясь за пуховой подушкой, что уходит из-под его локтя. А светлолицый старик ни разу не шевельнулся на своем месте. И к кесушке с чаем, которую подает ему келин, протягивает руку, не наклоняясь, не сгибаясь.

— А этот джигит... — хотел было задать очередной вопрос путник.

Старик сам подхватил:

— Это тоже один из наших родственников. Его имя Аурен. Он один из видных джигитов этого аула. Работает в городе. Приехал на отдых и зашел ко мне.

Снаружи раздался лай собаки. Слышен был топот копыт лошади. Подъехав вплотную к юрте, всадник остановился.

— Это сын Койбагар подъехал. Наверное, заехал, чтобы поесть, — сказала байбише.

Келин насыпала чай в заварной чайник. Вошел кто-то в верблюжьем чапане и тымаке. Еле-еле пошевелил губами. Похоже, это он так поздоровался. Остановившись у порога, стал развязывать пояс. Затем бросил пояс за женщину, разливающую чай, послышался мягкий стук упавшего пояса. Повесил лисий тымак у порога, а чапан кинул на кучку хвороста, сложенную возле входа. Вымыл руки. Рыжеватый, узколицый. Вел себя по-домашнему. Потом прошел на тор и сел чуть повыше женщины, разливающей чай. Погладил налысо выбритую гладкую голову и вдруг, широко раскрыв рот, жарко зевнул. Уши торчат. До гостей ему нет никакого дела. Сразу же молча приступил к чаю. За кесушкой чая не стало видно его мелкого, узкого лица.

— Ну что, скот в порядке? — спросила его байбише, нарушив тишину, установившуюся с тех пор, как он вошел.

Койгабар, выпив чай и вновь подавая кесушку, еле слышно произнес:

— Все в порядке.

Потом бросил пытливый взгляд на смуглого с черными усами и на незнакомого гостя. Вновь ему подали кесушку. И маленькое узкое лицо вновь исчезло за тенью кесушки.

Смуглый с черными усами, показывая, что больше не будет пить чай, прикрыл ладонью кесушку. И дальний гость, видимо, не охотник был до чая, он тоже похлопал по краю кесушки рукою.

Старик, допив свой чай, подвернул край дастархана.

Келин, разливающая чай, долила заварной чайник и вытащила большой чайник с кипятком из очага. Оставив расстеленным только край дастархана, где сидел ее муж, она свернула остальную часть. Светлолицый старик протяжно произнес: «Я, алла», — и надолго замолк. Смуглый с черными усами, сцепив пальцы рук на животе, откинулся на свою подушку. То ли от коряги, горевшей, потрескивая, то ли от совсем уж прокоптившейся крышки казана — ощущался запах остывшей гари. Сизо-серый пар, вырывающийся из казана, поднимается до отверстия тундика и исчезает, уходя в черноту ночи. Женщина, разливавшая чай, начала вытирать освободившиеся кесушки и убирать их. В доме ни звука. За пестрой кесушкой раздаются лишь только звуки глотков выпиваемого рыжим чая, льющегося в пищевод с громким бульканьем.

— Путник, наверное, не зря носишь с собой это, — сказал старик, указывая на домбру, прислоненную к стенке, — Бог прислал тебя, и нам хотелось бы увидеть твое искусство. Сделай одолжение, поиграй.

Путник снял мешок-чехол с домбры. Вытащив из кармана кобылку, установил ее. Начал настраивать домбру, расстроенную во время долгого пути. Пощипывая каждую струну, внимательно прислушался к звуку. Затем путник, подвернув край постеленного под ним корпе, несколько раз вытер о старый потертый ковер сначала ладонь правой, затем левой руки, которой он перебирает лады домбры. Проверяя звук, прошелся раза два по ладам вверх, вниз. Отекшие пальцы, с самого утра державшие поводья, еще толком не слушались, не сгибались. Теперь только все домашние присмотрелись к домбре. Смуглый с черными усами, поправив подушку под локтем, повернулся боком. Байбише, как только собрали дастархан, взяла в руки темную миску, налила в нее остаток теплой воды из чайника, насыпала соли и приготовилась было замешивать тесто. Она повернулась к пузатому полоса-

тому мешку с мукой в кебеже, но, услышав звуки домбры, отставила миску в сторону. Мальчик, следящий за огнем в очаге, остался с раскрытым ртом и кочергой в руках, глядя на гостя. Женщина, разливавшая чай, делая вид, что откидывает назад край жаулыка, спадающего на лицо, скользнула лучистым взглядом по лицу кюйши. Только ее рыжий муж проглатывает большими глотками полуостывший чай и время от времени вытирает рукавом выступившие капельки пота со лба. Старик, до сих пор не отрывавший взгляд от притолоки юрты, только теперь повернулся к нему.

Из крепко установленного на большом очаге тайказана поднимается пар с приятным, вкусным запахом варившегося мяса. От этого запаха, от тепла огня очага, поддерживаемого с самого утра и распространяющегося по юрте, кажется, что в доме все повеселели. Дыхание и запах обычной спокойной жизни. Путник вспомнил ту удивительную мелодию, пришедшую ему в дороге. Его длинные пальцы, перебирая струны вдоль ладов домбры, наконец, нашли ту мелодию. Он не ударял по струнам быстро, как прежде. Мелодия вышла плавной. Спокойно начатая, постепенно усиливалась в размеренном, ровном темпе. Успокаивающая мелодия, похожая на колыбельную, которую поет бабушка шаловливому внуку, укладывая спать. Ласкает слух, берет за душу. Словно вышел путник в дорогу в прекрасный, ясный день, когда вокруг все цветет. Любуясь красивой природой, красивой мелодией, быстро скачет по степи, радуясь доброму коню под собой. Видит вокруг только благостную красоту и наслаждается этим.

Трогательная мелодия, проникнув в душу, умиротворяла. Медленно лилась-лилась и, наконец, завершилась. Темная домбра упала на колени кюйши. Все молчали. Только горело, потрескивая в очаге, сухое корневище. Вдруг в золе что-то треснуло, словно выстрелило. Тогда только люди подняли головы. Рыжий, пожевывая губами, вытер остатки насыбая об колени и облокотился на подушку.

— Чудесный кюй! — воскликнул светлолицый старик, накручивая на палец конец реденькой бородки.

— Услаждает слух, — с этими словами смуглый с черными усами потер онемевший локоть правой руки и, повернувшись на спину, улегся на две собственноручно пойманные им подушки.

Мальчик, разжигающий огонь, только теперь вспомнил про кочергу в своих руках и торопливо переворошил угли в очаге.

Молодая женщина, сидевшая, положив обе руки на колени и делая вид, что разглядывает домбру, слушала кюй, оказывается, с глубочайшим вниманием. Она не сразу пришла в себя от потрясения и повернулась к огню только тогда, когда светлолицый старик вытащил из-под корпе костяную шакшу и спросил:

— Келин, нет ли в очаге золы от иженя или от кизяка?

Ее тело под шелковым платьем ожило, шевельнулось, и она обернулась на голос свекра. Тут же выхватила щипцами истлевающие, покрытые золой маленькие угольки, положила их на дно перевернутой кесушки и подала старику. На ее светлом лице полыхал румянец. Рукав просторно скроенного шелкового платья обнажил белоснежную руку и соскользнул дальше к локтю, когда она подавала свекру золу. На округлом запястье с гладкой кожей блеснул серебряный браслет с самоцветами.

Кюйши взял с колен домбру.

Старик спросил:

— Как называется этот кюй?

Кюйши ответил коротко, прикручивая колок домбры:

— «Алатау».

Ему вспомнился другой кюй, который он сыграл одной девушке, когда до каторги находился в своих краях. Та тоже была такой же белокожей, у нее тоже вмиг запылали щеки, когда точно так же рукав ее шелкового платья соскользнул и обнажил ее сильную округлую руку до локтя, в то время, когда она подавала ему чай. Тогда он находился в бегах, о нем ходили разные кри-

вотолки, и когда молодая, красивая девушка из незнакомого дома, где он остановился, налила ему чай, у него поднялось настроение, и он сочинил этот кюй. Он назвал его «Балкаймак», — мед и сметана то бишь... Постеснявшись теперь лишний раз посмотреть на красивую женщину, он отвернулся к тору.

Полилась эта задушевная мелодия, оправдывающая свое название. Люди снова слушали его как завороженные. Кюйши открыл глаза, и взор его остановился на смуглом с черными усами, лежавшем на торе на пуховых подушках. Тот сцепил пальцы обеих рук на животе. Небольшой животик, похожий на ягнячье брюшко. С ожесточенным усердием подминает под себя пуховые подушки. Красиво изогнутые брови, круглые карие глаза прикрыты длинными ресницами, он внимательно смотрит в сторону красивой женщины. Подбородок, еще не успевший сделаться двойным, но уже провисающий, едва заметно вздрагивал. Лоб гладкий. Важный, надменный ага. Кого он напоминает? Да, тот человек вот так же, облокотившись на пуховые подушки, лежал на торе. У того усы были не такие короткие, а длиннее. Когда баловень-кюйши, которого не могли заполучить к себе в дом гостем многие знатные люди, хотя по нескольку раз посылали за ним гонцов, — вдруг заявился сам, все, находившиеся в доме, наперебой стали здороваться и освободили ему место на торе. Не сдвинулся с места только тот. Сцепив пальцы рук на животе, лежал не шелохнувшись. Не шевельнулись и выпяченные мясистые губы. На губах застыла самодовольная улыбка. Кюйши, рассердившись на этого надменного мырзу, схватился за домбру. Не глядя ни на кого по пути, решительно прошел прямо к месту, где сидел тот мырза, и сел рядом. Несколько раз, пройдясь пальцами по домбре, начал кюй.

Этот смуглый с черными усами был так похож на того самого бая Аубакира, сына того самого Акбая...

Кюйши стиснул зубы, напрягаясь, боясь сбиться с мотива. На висках выступил обильный пот. Концовка краси-

вого кюя вышла несколько суровой. Кюйши вновь бросил домбру на колени, взял полотенце и вытер пот. Люди все еще оставались под впечатлением мелодии. Даже у рыжего Койбагара, позабывшего сосать табак, насыбай остался торчать в уголку рта, свисая хвостиком.

— Как ваше имя, айналайын? — спросил светлолицый старик.

— Курмангазы.

Человек с черными усами, словно желая спросить у старика: «а что, мол, есть и такой кюйши?» — недоуменно посмотрел на старика. Старик сделал вид, что не заметил его взгляда, и не отводил своих глаз от гостя.

Кюйши вновь взял домбру в руки. Прошелся по верхним ладам. Его широкий, спокойный лоб собрался морщинами. Словно прислушиваясь к своей игре, отвернул голову в сторону. Сидел, прислонившись к стенке, закрыв глаза. На шее вздулись вены. Брови были приподняты. Лицо отрешенное. Только длинные пальцы нечасто, сильно ударяют по струнам. Печальная мелодия. Не тоскливая, не жалобная, а скорбно-возвышенная. Светлолицый старик слушает по-прежнему внимательно.

Когда-то Аубакир, прослушав этот кюй от начала до какого-то места, вдруг закатился грубым смехом, оскалив зубы. Человек же с черными усами равнодушно лежит, глядя на шанырак. Байбише принялась месить тесто. Молодуха, взяв в руки кочергу, стала ворошить угли под очагом. Рыжий сын хозяина улегся у огня, повернувшись лицом к жене. Неизвестно, слушает или спит. Мальчик не сводит глаз с кюйши. Ему кажется, будто здоровенный гость с черной бородой, прикрыв глаза, плачет. Печальная мелодия берет всех за душу. У светлолицего старика, до сих пор сидевшего прямо, голова тихо склонилась на грудь. Сжав в кулак бородку, он без конца разминает ее. Кюй, начавшийся печалью, постепенно восходит к гневу. Словно горькие слезы подкатывают к горлу. Но вот кюйши резко обернулся, в глазах нет слез. Глаза с длинными, изогнутыми ресницами уставились в неведомое

пространство. Они покраснели. Вдруг с правой стороны от него кто-то всхрапнул. Гладкая, бритая голова рыжего сына хозяина соскользнула с подушки и упала на руку. Он заснул, свернувшись калачиком, подтянув под себя ноги. Байбише, попросив келин попридержать крышку казана, кидает в бульон тесто. Глаза человека с черными усами все еще уставлены в шанырак.

Кюйши стал неистово ударять по домбре. Звук усилился, убыстрился темп. Пальцы скользили по ладам... Тот давнишний Аубакир в этом месте поднял голову с подушки, лицо его побледнело. Эта печальная мелодия теперь обрела полную мощь. Она будоражит воображение, призывает к чему-то. Светлолицый старик приподнял голову. Пальцы кюйши снова задвигались медленно. Кюй закончился. В этот раз никто не проронил ни слова. Никто не спросили, как кюй называется. Светлолицый старик, глядя в притолоку, задумался. Только мальчик, сидящий у огня, вопросительно посматривал то на кюйши, то на остальных взрослых.

Кюйши зачехлил домбру и прислонил к стенке. Байбише сняла казан с огня. Молодуха принесла тазик и полила на руки. Человек с черными усами приподнялся и сел. Рыжий Койбагар тоже поднял голову. Посредине дастархана поставили блюдо, полное вареного мяса. Рыжий окончательно проснулся, вынул из ножен нож, ополоснул под струйкой воды из чайника и приступил резать мясо. Все теперь смотрели на его руки.

После еды рыжий снова надел верблюжий чапан и лисий тымак. Стоя у порога, подпоясался.

Байбише взяла отставленные заранее на другом блюде несколько костей с мясом позвоночника и ребер, завернула в тряпку и отдала сыну:

— Пойдешь в ночное? Возьми для чабанов.

Рыжий, взяв сверток, отданный матерью, засунул за пазуху и вышел из дома.

Когда стелили постель, путник вышел из юрты, снял седло с коня. Отведя вороного подальше от аула, стре-

ножил и отпустил пастись. Потом долго стоял в ночи, следя за лошадью. Темнота, хоть глаз выколи. Только в шанырake средней юрты виднеется тусклый, едва заметный просвет. Путник постоял немного, затем направился к дому. Постели были готовы. Молодуха, указав гостю на постель с правой стороны, оставила корпе в изножье. Выходя и закрывая за собой полог, она бросила еще раз на него взгляд. Позванивающие звуки шолпы раздались за стенами юрты и удалились в направлении другой юрты, находящейся со стороны востока солнца. Значит, юрта молодых была там.

Кюйши наутро проснулся рано. Вороной, оказывается, ушел от аула недалеко. Он привел его, оседлал и привязал возле дома. Оказывается, байбише уже встала и заставила келин вскипятить чай. За чаем молодуха ни разу не повернула голову в его сторону. И когда собрали дастархан и стали прощаться, она под предлогом, что надо вынести золу, вышла из юрты.

Ему снова стало тоскливо, как только он выехал из аула. С тех пор как вышел из тюрьмы, ему ни разу еще не было так тоскливо, как сегодня. Он поглядел окрест, кругом — бескрайняя степь. За одной грядою дорогу вдруг перебежал заяц. При каждом прыжке у яловой зайчихи белым пятном мелькало брюхо.

Кюйши подумал: «Эх, хоть бы встретился волк!» Ему вспомнилось, как он когда-то вместе с джигитами гнал волка. Серый, вначале бежавший наискосок по холмам, сменил направление, когда усилилось улюлюканье, и свернул к густой чаще тугая. Кюйши тогда тоже скакал во весь опор, глаза его слезились от встречного ветра. Скакал впереди, не уступая никому. Погоня за матерым степным волком вводит в бешеный азарт тех, кто обыденно находится, словно в спячке, в безмятежной лени аульной жизни. Когда, наконец, догнали и свалили соилами вожака-арлана и взвалили добычу на лошадь, джигиты бурно радовались, шумели и галдели. Это ему нравилось. Простоватые, нерасторопные джигиты становились

в такие моменты неузнаваемыми. Казалось, они смогут одолеть что угодно. Довольный удачной охотой, он, поравнявшись с тем джигитом, который приторочил волка к седлу, с удовольствием покрутил длинное ухо мертвого волка-вожака с раскрытой оскаленной пастью. Выехав вперед группы всадников, которые веселыми возгласами подбадривали его, он начал свою песню «Аш бори»:

Голодный волк, берегись! Там, где я, ты обагришься кровью.
Не вышел из оврага голодный волк, я его застрелил!
Бабы казахские родят сынов охотно, с любовью,
Но не родить им батыра как я, который лютого зверя убил!

Несколько дней длилось это веселье, затем все стихло. Джигиты отложили соилы, взяли в руки пастушеские посохи, кожаные бадьи и вновь занялись скотом, хозяйством. Кюйши, не находя себе дела, сел на коня и поехал по аулам. Он думал, что, если бы не волки, иногда нападающие на загоны с овцами, ничто не нарушало бы дремучий сон степи.

Кюйши сегодня ехал сильно опечаленный, даже ожесточенный. День стоял тихий. Ни дуновения ветерка, что пошевелил бы верхушки трав. К полудню впереди зачернел глубокий овраг. Повернув к оврагу, он спустился туда. Казалось, нет конца этому длинному оврагу. Он тщательно осмотрел все укромные места, но без толку. В этой степи даже волки попрятались. Да, в этой дремотной степи даже звери больше не рыщут, не попадаются на глаза.

Кюйши вспомнил дом, в котором переночевал. Сейчас тот смуглый с черными усами гостит в другом ауле, приткнувшемся к подножью соседней черной гряды. Рыжий чабан с довольным видом посматривает на коричневую дойную овцематку, жадно набросившуюся на осеннюю траву с краю стада. Светлолицый старик, словно проглотив кол, не отрывает взгляда от притолоки юрты. В голове, в мыслях его — тот давнишний спор меж двух аулов,

в разрешении которого он был бием, судьей. Изредка усмехается, вспоминая, как тогда был красноречив. Байбише сидит на солнечной стороне юрты, чуть придерживая крутящуюся прялку, иногда зевает, широко раскрывая рот: «О алла, благодарение тебе за все, что ты дал» — и снова зевает. Светлоликий мальчик вместе со щенком ходит по вершине холма. Оглядывается окрест с детским интересом. Молодуха, устав от нескончаемой домашней суеты, сидит в юрте, обхватив колени руками.

Кюйши прислушался к звукам вокруг. Невдалеке, оказывается, есть нора. Степные тушканчики, вдосталь натаскавшие в свои норы семян с колосков трав, греют на солнце спины в эти последние солнечные дни и, довольные, перекликаются между собой.

Кюйши, прищурив глаза, посмотрел на горизонт и увидел, что солнце садилось, бросая багровый отсвет на степь. Встал с места, взял домбру в руки и подошел к коню. Вороной, жадно пощипывающий траву, нехотя поднял голову. В душе кюйши в эту минуту зарождалась новая незнакомая мелодия.

Перевод Анатолия Кима.

Мукагали МАКАТАЕВ

ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК

Золотой человек!..
Золотой Человек!..
Человека-то нет…
Только золота остался желтый свет.
Кто он — полководец иль купец,
Ростовщик, дрожавший над монетой!
Золото — лишь символ, труда венец,
Где же человек дороже денег?..
Нету!..

Кто он, что из золота отлили всего?
Кем он был?.. Злодеем, царем, воротилой?..
Кем бы ни был,
золото не спасло его,
Дни прошли, и смерть его не отпустила,
Жизни ему золото не возвратило,
Он лежит, не чувствуя
ни-че-го,
В золотом убранстве, в золотой могиле…

Золото украли...
О, дней великий бег!
Слышу, как шумит столетий суховей,
Не вернуть наследия моего вовек,
Всех богатств, украденных из моих степей!..

Если был казахом
Золотой Человек,
Значит, знал он цену жизни своей!

АВТОГРАФ

Кто я?
Огонь, охвативший полмира,
Иль уголек?
Рифмоплет иль поэт?
Нет здесь коварного хана Джангира,
И потому Махамбета здесь нет.

Разве ты понял, с каким мужиком
Сел ты сегодня
Беседовать, пить!
Я, к сожаленью, не стал Спартаком,
А ты разве пробовал Цезарем быть?

Тайны мои,
Песни мои
Знают народы огромной Земли.
К векам обращаюсь,
Но нет мне ответа,
Нет здесь Магжана, нет Махамбета,
Есть их наследник по крови, по праву —
Я — Макатаев Мукагали!

* * *

Родится, родится еще настоящий поэт,
Он медом и ядом стихов напоит белый свет.
Он вдов обнадежит, поможет им в скорбном пути,
Жестоких заставит заплакать — пусть держат ответ!..
Родится, родится еще настоящий поэт!

И люди, его прочитав, заучить захотят,
Стихи засверкают на трассах небесных дорог,
Немые язык обретут и заговорят,
Слепые прозреют от света огненных строк.

* * *

Что такое? Откуда? Зачем-то
Грустный голос в вечерней тиши:
«Даже если выгодно это,
Друг мой, подлости не соверши…»

И сегодня вечером тоже
Слышу голос: «Коль будет беда
И товарищ предаст тебя, все же
Ты его не предай, не продай!..»

Кто мне азбучные долбит истины?!
Что-то чувствует мозг?.. Вот три дня
Где-то друг мой, товарищ единственный,
Предает иль уж предал меня…

Может быть, слетаю с ума я,
Нынче вечером мне все о том
Этот голос: «Жизнь — это прямая,
Коль свернешь, не вернешься потом».

Что такое? Откуда? Зачем-то
Снова по истечении дня
К огорчению, к подлости чьей-то
Грустный голос готовит меня.

Перевод Орынбая Жанайдарова.

Кадыр МУРЗАЛИЕВ

ГОРЕНИЕ

Был огонь, и его
раздували ветра,
но однажды погас,
не дожив до утра.

Было дерево, на нем
каменела смола.
Стало углями, но
не сгорело дотла.

Пусть воскреснет огонь
и меня взвеселит!
Древо станет золой,
если дважды сгорит!

МЫ

Мы, как тело и душа,
дом и печь, — неразделимы.
Кто там всходит не спеша
на крыльцо мое незримо?

То привидится беда:
и войдет, и печь разрушит,

дом становится тогда
обезличен, обездушен.

Иль предчувствие вины
нас тревожит то и дело:
у единственной стены
печь стоит осиротело.

Мы — как дом, печь в том доме — другие из нас.
И на нас смерть с порога глядела не раз.

Если вдруг рухнет печь, — но не думать о том, —
Боже мой, и тогда — опустеет наш дом.

Если вдруг рухнет дом, — как с такою бедой
сладить нам? —
Боже мой — печь глядит сиротой.

* * *

Быть может, сам я виноват во всем?
Я матери поведал то, о чем
отец просил меня не говорить.
Ведь обещал я другу своему,
что не скажу ни слова никому,
но вот жена сумела расспросить.

Моя ли? Нет, поэзии вина.
Мы подневольны, а она вольна, —
скажу ей все, хоть жизнь велит смолчать.
Ведь истина в крови, и если петь
я не смогу, то должен прохрипеть
и, голоса лишившись, промычать.

МЕЧТА

Пустыня — впереди, пустыня — за спиной.
Моря переплыву, другие — предо мной.

И скоро уже в пути ты встретишь старика.
Перешагну ручей, а предо мной — река.

Но рвется из-под ног и вдаль бежит тропа.
Куда ни глянь — леса маячат, о судьба!

В искусстве, друг ты мой, нет меры никакой:
взойдешь на перевал, за ним встает другой.

Я выбился из сил, но как еще далек
мерцающий вдали проклятый огонек!

БАРЫМТА[1]

Кошму раскинув прямо на земле,
старик сидел, скрестив сухие ноги.
И как вода в пастушеском котле,
пыль закипала на дороге.

— Помедли миг, вечерняя заря,
и выкажи, кто скачет по дороге.
Коль друг — он сядет рядом у костра,
а коли враг — моя рука не дрогнет…

Над степью плыли,
в клубы свивались
потоки пыли,
и кони мчались,

[1] Барымта — насильственный угон скота.

подобно с кручи
летящим рекам…
Табун приучен
к ночным набегам!

И он, влекомый,
как только минул
овраг знакомый,
во мраке сгинул.

Дремало пламя,
но вот — добыто,
когда на камень
нашло копыто.

Глаголом чести,
он — чист, прозрачен,
взывали к мести,
но смысл утрачен.

Утрачен разве?
Он был созвучен
неброской фразе:
Табун приучен…

Послушай, что же
все это значит?..
Что день был прожит
и снова начат…

СТОЯНКА

Да, покуда тучи окоема
не мрачили и не слышно грома,
верят, что в ауле — целый мир,
или в мире три-четыре дома,
три-четыре дома.

Ветер детский смех что было сил,
по степи полынной разносил.
А в ауле три-четыре дома,
три-четыре дома,
сто могил.

ПЛАЧ АСАНА КАЙГЫ[1]

Куда б ни шел — повсюду цепи,
и болью спаяны уста.
Куда б ни шел — бесплодны степи,
и жизнь никчемна и пуста.

Куда б ни шел — там мать печальна,
там кормит нищего сума.
Степь бесконечна, безначальна,
и все-таки она — тюрьма.

Куда б ни шел — а смерть, похоже,
с тобой повсюду и всегда…
Сердца джигитов лижет, гложет
белесым пламенем вражда.

Куда б ни шел — народ в смиренье.
Он вечно клянчит у певца
одну лишь песню утешенья,
баюкающую сердца…

Да что он там, меситель глины,
морочит голову, дурит?!
Ужели жизнь и скорбь едины,
а счастье нам
лишь смерть сулит?

[1] Асан Кайгы — полулегендарный старец, искавший землю обетованную для своего народа и не нашедший ее.

Как эти речи безрассудны!
Но чем? Любовью отплатить
за нелюбовь?
Сдержаться трудно,
пригубив, чаши не испить?!

Бог покарает — не иначе.
Но был я прах и стану — прах…
Да, я на свет явился — плача,
и сгину —
с плачем на устах!..

ЛЕТНЯЯ НОЧЬ

Тихой песни обещаньем
наполняют нежно грудь
ночи и небес венчанье,
обручальный Млечный Путь.

Припадаю жадно к росам,
пью прохладу, лунный свет.
Ночь свои распустит косы, —
слышу перезвон монет.

Здесь коней трава треножит,
и меня приворожит:
вод полночных не тревожа,
Лодка месяца бежит.

Но меня печалью полня,
сякнет темная река.
Осуши глухую полночь
до последнего глотка.

Перевод Кайрата Бакбергенова.

Калихан ИСКАКОВ

ЗАПАХ МОЛОКА

Приезд Аяна в этом году был непохожим на прежние. Почему-то он не известил родных ни письмом, ни телеграммой.

Смеркалось, когда Аян сошел с автобуса. Он приехал из Алматы налегке, а было ветрено, и холод мгновенно пробрал его. То ли после дождя, или это опустилась уже роса, но придорожная трава была мокрая.

Стояла тишина. Словно сырой холодный ветер заглушил все звуки. В темнеющем небе дрожало несколько звезд. Из зарослей, растущих вдоль шоссе, тяжело вылетел могильник и тут же пропал.

Аян вспомнил свою попутчицу — светловолосую девушку. Им было хорошо вдвоем, они как-то быстро разговорились, шутили, болтали. Теплый автобус, беспечный смех, шоколад, бесконечно извлекаемый из сумочки... Он подумал, что эти несколько часов, пока он ехал в автобусе, были заполнены ею, а теперь, может быть, они никогда не встретятся больше. Вдруг стало грустно. Он оглянулся — автобус катился вдали, подмигивая двумя красными фонариками, словно насмехаясь над его грустью. Чернела, удлинялась между ними лента асфальта. «Наверное, спит еще, — вздохнул он. — Почему я не разбудил ее, не попрощался?..» На миг он будто снова ощутил плечом мягкое тепло и запах ее выгоревших на солнце волос.

Со стороны аула донесся приглушенный рев осла. Наверное, бабушка сейчас неторопливо разжигает в очаге огонь, а чуть дальше стоит арба, к которой дедушка на ночь привязывал осла. «После смерти деда, наверное, осла продали», — подумал он.

Аян мельком взглянул на свои черные остроносые туфли и сошел с дороги. Земля была сырая и мягкая. Впереди мелькали огни аула, лаяли собаки. Он шел, не глядя под ноги, отгадывал по огням дома знакомых, соседей, узнавал по голосам собак, и перед его глазами возникали далекие картины, лица. «Наш Сырттан... — вспомнил он о псе. — Жив ли еще?»

Он быстро прошел первые дома, обогнул чью-то изгородь, отмечая, что ее тут раньше не было, и, ускоряя шаг, направился к своему дому напрямик через кусты. Впереди лениво забрехала собака, и он узнал Сырттана. Одряхлевший, без единого клыка, Сырттан тоже узнал его и быстро-быстро забил белым, облепленным репейником хвостом. Пес по привычке потянулся к рукам, и Аян почувствовал ладонью его холодный и мягкий нос. «Да, одряхлел», — подумал он, не останавливаясь. Только сейчас, подходя к дому, он вспомнил, что приехал с пустыми руками. «Стыд какой! Не мог даже индийского чаю бабушке захватить...»

Пока добирался до крыльца, наступил на свежий коровий помет. Шагнул было в сторону, наступил еще и, совсем расстроившись, стал чистить туфли пучком травы. Из дома доносились говор, звон посуды, детский плач. Раздраженно ворчала Алуа — жена брата: «Что прикажешь делать? По мне, хоть сегодня сдай их в детдом». В ответ Кошкар только кашлянул. Аян не услышал голоса бабушки. «Бабушка очень скучает по тебе. В последнее время она часто болеет». Он вспомнил эти строки из письма Кошкара, и сердце его замерло. Он разогнулся, посмотрел на очаг и радостно засмеялся, увидев дымящийся белый самовар.

В этом доме самовар ставила только бабушка.

Аян проснулся от резкого звука. Спросонья пошарил рукой у изголовья. Открыл глаза, приподнялся. Поперек его подушки лежал самый младший племянник — Машкар. Разбудил Аяна не будильник, а кричавший за окном осел. Он вспомнил, что находится в ауле, а не в Алматы, что не надо ему спешить на работу, и улыбнулся. Положил ножку Машкара себе под мышку, подтянул одеяло, чтобы укрыть мальчонку. Но с другого края показались черные, в саже, ноги четырехлетнего Баскара. Баскар тотчас задергал ногами, отыскивая одеяло. Аян проснулся окончательно. Справа он увидел малышку Жулдызай, слева спала Умсинай, на постели бабушки посапывали Алтынай и Кумисай. В общем, под двумя одеялами вместе с ним оказалось семь человек. «Когда они успели пробраться сюда?» — удивился он. Вчера ночью перед сном дети подняли невообразимый шум, каждый хотел спать только рядом с бабушкой. Он поймал было троих и выдворил в другую комнату, к родителям...

На стене в деревянных рамках висел длинный ряд портретов. Все фотографии выполнены в одном стиле, стекла потемнели. С краю — дедушка с задумчивым спокойным лицом, рядом — бабушка, такая, какую он запомнил в детстве, дальше отец, мама, Кошкар, он сам... Каждый раз, когда Аян видел эти портреты, он долго смотрел на отца и маму. Он знал их только по этим фотографиям и рассказам, и какая-то щемящая грусть охватывала его. Что-то смутное, далекое вставало перед глазами... Аян прикрыл веки. Со двора доносились стук ведер, звонкое жужжание сепаратора. Он будто ощутил во рту вкус теплых свежих сливок. «Бабушка, — пробормотал он, — бабушка...»

— Бабушка, бабушка... где ты?.. — раздалось вдруг рядом.

Аян вскочил, увидев, как Баскар, держа ручонками трусики, бежит в сени; Аян ринулся за ним, у двери сорвал со стены тазик...

Солнце поднялось уже высоко над землей, туман еще не разошелся и розово светился в его лучах. Дым

плохо разгорающегося сырого кизяка стлался по двору. У крыльца на нарах бабушка размеренно крутила ручку сепаратора. В сумерках она показалась Аяну прежней: тот же ласковый голос, те же мягкие теплые руки, а сейчас, он отметил, сидела постаревшая, какая-то маленькая, и белый кимешек на ее голове казался огромным. Этот кимешек словно придавил ее к нарам. В трех шагах от нее сверкал боками самовар, с другой стороны, рядом с бабушкой, сидел, позевывая, Сырттан. Невдалеке дымилась сырая лепешка коровьего помета. За дувалом беспокойно подавал голос бело-серый бычок, вертелся, терся о стену. Корова облизывала теленка и иногда, отрываясь от этого занятия, равнодушно прислушивалась к зову. Теленок же смотрел на бабушку не отрываясь, видимо, ему перепадал обрат. Из сарая с кудахтаньем выбежала курица; петух, чуть не опрокинув чашку со сливками, перелетел через нары, нагнал и схватил ее.

— Кыш! Проклятые, кыш! Готовы из рук чашку выбить! — замахала руками бабушка. Она еще что-то пробормотала, но, услышав шорох за спиной, обернулась, увидела Аяна. — Жеребеночек мой, разбудили тебя сорванцы? Худенький ты мой! Что же вышел раздетым? Простынешь...

Аян накинул на плечи старый халат, висевший на дверном косяке. От халата пахло молоком, значит, его надевала бабушка. Потом засунул ноги в новые кожаные бабушкины калоши и, волоча их, подошел к ней. Бабушка надевала их зимой на валенки.

— Длинноногий мой, — заворковала она, целуя его в лоб.

От нее тоже пахло молоком. Аян даже чуть не задохнулся. Он вспоминал этот запах, когда ему было тяжело, когда скучал по дому, по бабушке.

— Худенький мой, ягненочек мой! Выпьешь сливок? Выпей до чая. Не думай, что в этом доме можно собрать всех на завтрак. Алуа с утра бежит в школу, Кошкар торопится в контору.

Она подала Аяну чашку со сливками.

Пока бабушка говорила, в дверях показались малыши. Кто вывалился из дверей, кто выкатился — на покрытом инеем крыльце отпечатались следы босых ног. Первым добрался до бабушки Баскар. Почесывая живот — холод, видно, ему нипочем, — подошел, уцепился за подол, задергал:

— Это моя чашка, моя! Зачем отдала ему?..

— Ах, дай бог тебе много лет! Отстань, отпусти меня! — Бабушка с трудом отцепила его от себя.

— Это моя бабушка! Моя! — подступил к Аяну Машкар, воинственно выпятив круглый подбородок.

— Ох, хитрец! Смотри, как может обвести вокруг пальца! Ты сын Алуы...

Но никто из малышей не слушал ее, словно птенцы, окружили ее, затеребили.

Аян глотнул сливки и, отставив чашку, стал наблюдать за детьми. Он ревновал к ним бабушку. И было грустно и за себя, что он вырос, и за бабушку, что так постарела, изменилась, что не знает ни минуты покоя. Бабушка снова взялась за сепаратор. Внутри него забулькало, залопотало; светлая вязкая струйка потекла из трубки в чашку. Ребятишки подставляли ладошки, срывали струйку пальцем. Бабушка наклонялась и выпрямлялась, вращая ручку, выражение ее лица постоянно менялось, морщины то и дело сбегались, тонкие потрескавшиеся губы ушли внутрь, и подбородок от этого казался еще острее, костистее. На запястье руки позванивал серебряный браслет, он сидел теперь совсем свободно и в такт движению вращался вокруг руки. Кисть была сухая и темная, как ветка саксаула... Сколько еще работать этим высохшим рукам? Долго ли звенеть браслетам? Словно отсчитывая мгновенья жизни, вращается рукоять, и кладутся поклоны, и текут в разные стороны струйки сливок и обрата. Молоко. Вечный запах молока.

Бабушка смотрела на Аяна. Взгляд несколько удивленный: она заметила перемену в его лице. Потом показала подбородком на сливки, Аян покачал головой, от-

казался. Бабушка взглянула на него еще раз и понесла бело-красному теленку ведро обрата. Ребятишки завозились у сепаратора с новой силой...

...Он был, кажется, ростом с Баскара, а может быть, еще меньше и так же стоял когда-то у сепаратора. Жался к бабушке, озираясь вокруг. Молока было много, десятки ведер, женщины целыми днями устало таскали их во двор, а потом со двора. Иногда его ругали: «Когда он напьется? Вечно путается тут!..» Он даже не вкусил материнского молока. Может, Кошкар, тот был старше... Оба знали только две пожелтевшие фотографии на стенке. На них показывали пальцем и объясняли: «Это ваш отец, а это мать...» Но смысл этих слов он осознал уже потом... А тогда еще не понимал, что такое отец и мать, он просто не знал их, и представлялось, что они уехали куда-то далеко и не вернулись. Кошкар и он надевали одежду, и бабушка говорила, что это одежда отца и мамы... Что же еще? Что еще было? Молчаливый, печальный дедушка, бабушка, ласковый ее взгляд, пальцы, украшенные кольцами, звенящие браслеты, ручка сепаратора, струйки сливок и обрата... Запах молока...

Бабушка тогда работала на колхозной маслобойне. В те дни с утра после первой дойки здесь собирался весь Шолактам. Целый день клокотала маслобойня: крики детей, перебранка, неумолчное жужжание сепаратора... Голова шла кругом. Расходились поздним вечером: в руках женщин по ведру, на донышке два-три литра обрата; хныкающие, усталые дети цепляются за грязные подолы. Последними уходили с маслобойни Аян с бабушкой...

Иногда к вечеру Аян засыпал, не обращая внимания на шум, крики, на мух, тотчас облеплявших лицо, глаза, губы. Уставал очень. Но просыпался он мгновенно, только дотрагивалась до плеча знакомая рука. Вскакивал, смотрел на сепаратор: разобран или нет? Он старался сам разобрать маслобойку; бабушка сливала в ведро, на обрат, остатки сливок, и он становился хозяином машины. Снимал с тонких тарелок пальцем сливки, собирал в

чашку, выпивал. Потом тщательно облизывал пальцы и, аккуратно промыв, расставлял детали и части сепаратора на просушку.

Он любил работу и огорчался, когда бабушка будила его перед самым уходом, промыв все сама. Но самое страшное случалось тогда, когда приходила заведующая маслобойней Алиман — жена председателя колхоза. Она часто ругала доярок, придирчиво осматривала обрат, уносимый женщинами домой: не слишком ли много уносят, не добавили ли сливок? Она не любила Аяна. И он знал это и старался не попадаться ей на глаза.

— Что ты приводишь мальчишку сюда?

— Алиман, где я оставлю его? Где, скажи?.. Старик и Кошкар на уборке свеклы. Дома никого нет, — оправдывалась бабушка.

От голоса Алиман он тоже просыпался мгновенно.

Дедушка и Кошкар работали по другую сторону аула, домой они возвращались раньше. Серый осел дедушки протяжным громким криком сообщал об этом: он кричал всегда в одно и то же время; бабушка и Аян переглядывались между собой, услышав его рев, а если находились в это время в пути, то прибавляли шагу. Ранним утром — чуть свет — серый осел будил весь аул. Никто теперь не сердился на него, как бывало раньше; шла война, в ауле мужчин почти не осталось, а женщины и старики вставали рано.

Только однажды, возвращаясь домой, Аян и бабушка не услышали знакомый крик. Бабушка что-то бормотала на ходу, и Аян еле поспевал за ней.

Перед раскрытыми настежь воротами, все еще запряженный в арбу, стоял серый осел. Обычно в это время он находился во дворе, у стойла, полного свежего, сочного клевера. Из двора раздавался раздраженный хриплый голос бригадира Озенбая.

— Почему ты не хочешь понять меня? На свеклу пошлем женщин, а ты пойдешь на сбор солодки. Сын будет копнить. Понял?

— А почему ты не хочешь понять меня? — отвечал ему дедушка усталым глухим голосом. — На что я годен, кроме как подбирать свеклу? Как будто не знаешь, что я болен. Где мне держать вилы?..

— Ты брось мне это! Слышишь? Я вас живо заставлю шевелиться!.. — Он оглянулся по сторонам, увидел вошедших бабушку и Аяна, сорвался с места. — В трудармию захотел?! — бросил он, выбегая из ворот. Поравнялся с ослом, ударил его камчой по голове.

Старик остался сидеть у очага. Согнулся, оперся о колени, вцепился кривыми, посеченными пальцами в бороду. Глазами неподвижно уставился в огонь. Казалось, он вот-вот заплачет, ударит кулаком о землю. Слезы навернулись на глаза Аяна, защемило в горле. Бабушка неслышно двигалась по двору, готовила ужин. Становилось темно. Дедушка сидел все еще неподвижно, и по морщинистому его лицу ходили блики огня. Он очнулся, когда с шипением на уголья пролился обрат, поставленный бабушкой в котелке.

— Эй, снимите молоко, — поднял он голову. — Все ведь прольется! Все!..

Потом погладил волосы Кошкара, прикорнувшего рядом. И снова задумался.

Никто из них — ни дедушка, ни бабушка — не делили между собой детей. Но Кошкар всегда находился с дедом, а Аян с бабушкой. И имя шестилетнему Кошкару дал когда-то сам дедушка. Аяну потому, наверно, и не удавалось ездить верхом на сером осле, и на свеклу он не ходил. Он, Аян, был бабушкин. Так он и назывался, когда его спрашивали чужие. «Я — бабушкин». Аян смотрел на дедушку, чувствуя какую-то беду и не зная, как помочь.

— Не огорчайся, старик. Не трать на этого Озенбая здоровье. Поешь. — Бабушка поставила перед дедом шару с едой. В шаре — деревянной чаше — кукуруза с обратом.

— А?

— Я говорю, забудь об Озенбае.

— Э! — дернулся дедушка. Потом ткнул концом палки в очаг. — Все сгорело.

— О чем ты? — Бабушка посмотрела на уголья. Посмотрел и Аян.

— Сгорело, говорю! — Дед все еще тыкал палкой в очаг. — Все сгорело!

Догадавшись только теперь, бабушка быстро разгребла щипцами красные уголья, нашла и выкатила три-четыре свеклы. Аян обрадованно отставил чашку. Свекла! Разве сравнить кукурузу со сладкой, как сахар, свеклой? И сейчас бабушка и дедушка, как всегда, отдадут всю свеклу им — Кошкару и ему. Но дедушка отодвинул в сторону шару, стоявшую перед ним, и стал читать Коран. Аян, торопливо счищавший со свеклы обгорелую корку, только поднес было ее ко рту, как заметил сердитый взгляд дедушки. Он положил свеклу на колени и поднял, раскинув перед лицом, ладони.

— Не четверг сегодня, не святая пятница, что ты придумал, — проворчала бабушка.

Дедушка, не обращая внимания на ее замечание, неторопливо, глухим голосом бормотал слова молитвы. Аяну были непонятны эти слова, как непонятна и «черная бумага», и многое другое в жизни. Он вспомнил, что забыл сообщить новость.

— О Жакие старика Мусрепа пришла черная бумага, — объявил он.

— Хоть бы знать, живы или нет, — пробормотала бабушка, и глаза ее наполнились слезами. — Видно, даже весточку, даже черную бумагу Бог считает для нас многим. Где они, что с ними?..

— С кем? — спросил Аян.

— Твой Бог, наверное, давно свихнулся, — ответил дед бабушке.

— Замолчи! Не богохульствуй! Ты же только что читал Коран!

— Е-е, я просто так читал. Ни Коран, ни Бог не оживляли еще людей. Не видел я такой милости.

— Ты сошел с ума!

— Ладно, хватит! Заболталась. — Дедушка сердито повернулся к ней.

Бабушка отвернулась. Посидела немного молча, потом взяла свою чашку, медленно начала есть. Дедушка некоторое время смотрел ей в спину, потом начал потихоньку гладить голову Кошкара. Молчали долго. Аян знал, что дедушка теперь не станет кушать. Он знал, что это очень плохо, когда дедушка не кушает, потому что он может заболеть. Так всегда говорила бабушка. За дувалом закричал серый осел, и дедушка, словно ждал этого, торопливо встал. Снял с себя купи, свернул одну половину и подложил под голову Кошкара, другой половиной укрыл его.

— Что же ты не привез клевера? — спросила его бабушка. — Заберется куда-нибудь, где будешь его утром искать?

— Вез. Встретил председатель, велел выгрузить.

— Завтра пойдешь на сбор солодки?

— Если бы это было делом Озенбая, — ответил дедушка. — Война... И старухи работают, и дети... Из-за одной вши шубу не жгут, сама знаешь. Из-за какого-то подлеца позориться не стану... Пойду утром с Кошкаром.

Дедушка не возвращался долго. Становилось холодно. Аян все ближе и ближе подбирался к очагу, но тепла от затухающих углей было мало. Бабушка постелила деду во дворе под двумя карагачами, перенесла туда на руках Кошкара. Потом за руку повела в дом Аяна.

Аян долго не мог заснуть. Настойчиво звенел в углу сверчок, умолкая ненадолго, словно для того, чтобы набраться сил; с тихим шорохом влетел в щели окна ночной ветер. Тихо скользило по стене пятно от далекой луны. Иногда со двора доносился надрывный кашель дедушки. Аян подумал, что у дедушки, наверное, снова ноет поясница. Потом он вспомнил, что дедушка не ужинал, а завтра у него тяжелая работа. А Кошкар будет копнить. Будет сидеть на сером осле и подтаскивать вороха сена,

пока не наберется копна. Или пока веревка не соскользнет с вороха. Тогда Кошкару придется слезать и снова накидывать веревку. Но дело не в этом. Главное, Кошкар целый день будет кататься на осле! Целый день!.. «Вот счастье какое, — подумал он с завистью. — Если б хоть на один день дали мне осла. Я бы устроил скачки. Только скачки! Посмотрел бы тогда, где останется на своем осле курносый Совхозбек. Вот только серолобый Аскарбека опасен. Резвый уж больно. Но дед Аскарбека ведь забирает осла на уборку свеклы!.. Да-а-а!..»

Бабушка зашевелилась во сне, зачмокала губами. Пробормотала вдруг: «...обрат это, не видишь, что ли, какие сливки?» И Аян представил Алиман. Представил, как она ругается и как бабушка показывает ей ведро и как молча вокруг стоят усталые женщины.

Он лежал и думал еще, что пора бы уснуть, иначе он не выдержит завтра целый день. Но сон словно улетел куда-то. Вдруг донеслась птичья трель. Во дворе пел соловей. Аян заслушался. Соловей пел красиво, по-разному: то звонко и долго, то переходя на мягкий говор, как будто успокаивая кого-то. Внезапно он замолчал, словно испугавшись. Аян стал ждать, когда соловей запоет снова. «Чего он испугался? — подумал он. — Или упорхнул куда? А может быть, он перелетел во двор к Озенбаю?..» В комнате было тихо. Будто он лежал в пустом доме. Он не заметил, когда исчезла луна.

Кто-то резко толкнул калитку. Во двор зашел Озенбай. Это было неожиданно, Аян и бабушка переглянулись.

— О, бабушкин сын приехал? — начал Озенбай еще у калитки. — Здоров, цел? Вижу, вижу, вытянулся, вырос... Знаю, работаешь на большом посту... Правильно, правильно... Молодец!.. Ну, что, старуха, — обратился он на ходу к бабушке, — сын приехал. Рада ты, конечно, а?.. Правильно...

Ожиревший, с одутловатым, заплывшим лицом, Озенбай был неузнаваем. На толстые плечи накинут халат из черного сатина, пояс перехвачен серым широким

кушаком. Тяжело передвигая ноги, он подошел наконец к Аяну и, кряхтя, взгромоздился на нары.

— Э-эх, э-эх... правильно, — повторил он. — Все верно... — Озенбай тяжело и шумно дышал. Грудь его ходила ходуном. — Уф-ф!.. И наш... наш непутевый тоже... позавчера приехал... Он ведь в Чимкенте... в пединституте... завернул домой... У-уф!.. И не расскажешь ничего толком...

Озенбай сдвинул на затылок тюбетейку, вытер концом кушака мокрый лоб. Немного ослабил пояс. Пока Аян прикуривал, ерзая по нарам, вплотную придвинулся к нему.

— Вот-вот. Потому и тощие, что курите. Курят словно едят.

— Сам разве не курил? — подала голос бабушка, убирая посуду.

— Мы тоже курили... Э-э-э... Курили, да бросили. А теперешние считают, что прежде всего надо уметь курить... — Озенбай рассмеялся, заколыхался всем телом. — Смеемся... Да-а... Вот такие дела, Аян... Доживаем жизнь... В этом году должна была быть пенсия, в райсобесе сказали, что не хватает еще шести месяцев. Как будто отрезали мне пуповину... Шестьдесят мне, понимаешь, уже шестьдесят!..

— А как по документам?

— Кошкар как будто все собрал. Может, чего не хватает в документах, не знаю. Ты в газете работаешь, э-э-э... Посмотрел бы, проверил. Моему длинноногому и дела нет до этого... А у меня сердце... два шага не ступишь... Доктора нашли какой-то ожирай...

— Ожирение, наверное.

— Э-э-э... черт его знает. Спасибо Кошкару, помогает, не забывает стариков. То сторожем тока устроит, то сторожем склада... Все легкая работа... Недавно уговорил перейти в бригаду. Урожай хороший, платят на свекле неплохо, почему бы не подзаработать к пенсии?.. Утром встретил его, узнал, что ты приехал, а то ведь здесь некому и барана прирезать. Кошкар попросил зай-

ти. Эй, старуха, — обратился он к бабушке, спохватившись, — овец еще не выводила? Кошкар сказал, чтобы рыжего валуха оставила...

В это время у ворот остановился синий «Москвич». Вместе с Кошкаром во двор зашел длинный смуглолицый парень. По черной шевелюре и вздернутому носу Аян узнал в нем Шамиля.

— Э-э-э, вот и мой длинноногий, — воскликнул Озенбай, увидев сына...

* * *

— Аян, может, пойдем погуляем? — предложил Шамиль. Ему, видно, надоели бесконечные «мой длинноногий», «наш непутевый». Озенбай свежевал валуха.

Бабушка ему помогала.

— Пойдем.

На улице они пошли вдоль огорода.

— Давай присядем здесь, — обратился Шамиль к Аяну через десять шагов. — Жаворонок над головой, арык звенящий — вот он.

Аян согласился.

Роса уже высохла, и травы выпрямились. Запах полыни был резкий, освежающий.

— Как хорошо здесь! В городе тоскую по аулу. Приезжаю словно в другой мир — чистый, широкий...

Аян молча кивнул.

Солнце слепило глаза. В безоблачном небе плавали два ястреба. Ниже тянулись недвижные разноцветные столбики дыма: голубые, бурые, серые, желтоватые... По ним можно было угадать, что где-то только разжигали очаг, где-то во дворе он горел вовсю, а в чьем-то доме уже потух огонь, наверное, сидят уже за дастарханом и завтракают. Как будто и запах еды примешивался к воздуху, словно каждый столбик дыма излучал свой аромат: запах жареного лука, запах масла, запах молока... Аян обернулся в сторону дома.

— Не торопись, — сказал Шамиль. — Бабушка, должно быть, все еще опаливает голову рыжего. Ах, как хорошо в ауле!

Вдалеке, за пустыми желтыми полями зарокотали тракторы. После уборки кукурузы поля казались ровными, широкими, тянулись до горизонта. В ауле, заглушая шум моторов, подал голос осел. Разноголосо запели петухи.

Шамиль вынул из правого кармана пиджака бутылку вина «Казахстан», из левого — рюмки.

— Как на это смотришь? — спросил он. — Конечно, не «Хванчкара», но ничего.

Аян взял рюмку. Вино было хорошее. Он долго держал влагу во рту и смотрел, как на воду, медленно кружа, падают желтые листья.

— Аян, я хочу прочесть тебе пару стихотворений. Скажи свое мнение как критик.

— Читай.

Шамиль вынул из нагрудного кармана пиджака блокнот и начал читать:

С кем пошлю я привет
В мой далекий аул?
Чтобы полный конверт
Мне прислали в ответ.
Помню отчий я дом,
Жду поддержки от вас...
Не забудьте! О том
Вам сыновний поклон...

— Все?

— Нет, есть еще.

— А как ты смотришь на эту вещь?..

В платье милое ты одета
И молчишь... Что ж, уйду без обид:
На любовь мою нет ответа.
Мне пора... Что ж душа-то болит?

— Неплохо. Давно пишешь стихи?

— Не пишу, — ответил Аян.

Он не собирался отвечать Шамилю стихом, просто прочел то, что пришло в голову. Тем скорее должен был понять Шамиль, что все это очень глупо. Аян вспомнил многих пишущих парней из столицы, не очень-то отличающихся от Шамиля, «Уроды, — подумал он, чувствуя, как наплывает обида... — Склоняют имена классиков, спорят о них: тот такой, тот сякой... тот ничего, тот плох... Ах уроды! Литераторы, тоже мне! Знать Пушкина и Есенина, Маяковского, Пастернака, знать Абая и Махамбета, и вдруг! "Чтобы полный конверт...". Чего это я разошелся?» Но успокоиться уже не мог. Какие-то душевные споры всплывали в памяти, ожесточенные споры в клубах папиросного дыма, споры то у одного писателя, то у другого, каждый из которых считал себя сложившимся классиком, гением, а в сущности был ничто. Он никогда не хвалил их, всегда видел в их произведениях несовершенство, и это заслоняло глаза на все остальное. Он говорил всегда об этом резко, в глаза. И не удивился, когда на страницах журналов и газет появились статьи о нем; они с грохотом горных камней обрушились на него. «Аян стал знаменит не критикой своей, а тем, как его критикуют», — говорили о нем. «Ах черт! С чего это я разошелся? — подумал он снова. — Что это со мной?..» Состояние, подобное тому, которое охватывало его после тех изнурительных споров, было невыносимо. Тогда он уходил, запирался в своей маленькой комнатке. Стол, заваленный книгами, исписанными листками, железная кровать, обшарпанный пол, тоже засыпанный книгами, бумагами... И чтобы успокоиться, он вспоминал родной аул, бабушку, детство... Он вспоминал, перебирая в памяти далекие дни, каждое происшествие, каждую обиду и радость; вот бросит все: и незаконченную книгу, и диссертацию, споры, и город этот шумный — и уедет домой, в Шолактам. С этой мыслью он ложился, а воспаленный мозг работал и работал всю ночь. И внезапно как спасение ударил в нос запах молока...

— Ты можешь идти сам? Вечно цепляешься за подол... Аян очнулся от голоса бабушки, раздавшегося за кустами.

— А как оценишь это стихотворение? — спросил его Шамиль.

В Шолактаме озеро святое,
И месяц над ним ясен, светел.
Мое сердце налилось здесь болью:
У озера красавицу встретил...

«Та светловолосая попутчица моя, — подумал он, слушая Шамиля, — наверное, уже доехала домой. В чьих она сейчас объятиях: матери или любимого парня?..» А Шамиль все читал и читал, бродил и кружил по Шолактаму; он уже пересчитал дома и сараи, упомянул своих родителей, не забыл про ягнят, козлят, петуха и осла. «Длинное стихотворение», — усмехнулся Аян с тоской. Он уже не злился на Шамиля, прошла обида, теснившая грудь. Находило спокойствие, медленно, как далекая песня. Дымки над аулом растворялись, увлекаемые ветерком, воздух наполнялся звуками. Наступил полдень.

— Уф-ф!.. Вот вы где, мои хорошие! Только зачем на землю сели? Простудитесь...

Бабушка появилась перед ними со связкой хвороста. Из-под кимешека выбилась прядка белее самого кимешека. Рядом стоял маленький Машкар.

— Бабушка, конфету хочу, — напоминал он свое.

— Ой, отстань ты от меня наконец!.. Горе мое!..

— Ах, бабушка, как будто дома не хватает топлива, — пробормотал Шамиль, укрывая полою пиджака наполовину опорожненную бутылку и рюмки.

— Топлива хватает, сынок, — ответила бабушка. — Да вот хочу Аяну заготовить копченое мясо. Чтобы товарищей угостил по приезде, да и самому ему нужно будет... А коптить лучше хворостом. Ну, пойду, вы, наверное, проголодались. Приготовлю сейчас поесть.

Аян подбежал и взялся было за связку, но бабушка не отпустила веревку.

— Нет-нет, — запротестовала она, — костюм испачкаешь. Столько несла, осталось три шага — донесу...

— Дайте мне, бабушка.

— Нет, жеребеночек мой. Не надо. Мне не тяжело, донесу.

Она так и не позволила Аяну помочь ей, взвалила связку за спину и зашагала домой.

— Ах, как хорошо в ауле!.. — проговорил Шамиль, наливая в рюмки вина. — Давай выпьем за его благополучие.

Аян не ответил. Он смотрел вслед бабушке, которая, волоча ноги, медленно шла домой, придерживая одной рукой хворост, другой маленького Машкара. Время от времени она рывком перекладывала связку по спине, и каждый раз при этом Аян вздрагивал, словно у него ломило под ребром. Лицо его горело то ли от выпитого вина, то ли от стыда перед Шамилем, который видел, как он неловко пытался помочь бабушке.

— Ах, как хорошо в ауле!.. — повторил Шамиль.

Он начинал действовать ему на нервы, и Аян крепко сцепил пальцы. Старушка уже вошла во двор, долетел шум брошенной на землю связки. Аяну показалось, что он услышал и тяжелый вздох бабушки.

— Интересная пора — детство, — снова заговорил Шамиль. — Ты помнишь, мы частенько дрались? Ты побеждал, везло чаще тебе. Чего это ты молчишь? Может, из-за моих стихов? Брось!.. Я не поэт, читал просто так. Знаешь ведь, как я люблю, когда ты злишься... Хотел разозлить.

Вино уже кончилось. Аян взял пустую бутылку, намереваясь закинуть ее в сторону, но Шамиль поймал его руку.

— Не кидай! Какой-нибудь сорванец купит себе сто граммов конфет.

— Брось. Мы, что, тоже жили на копейки с пустых бутылок? Не стыдно так говорить?..

— Не болтай. Тогда и пустых бутылок не было. Некому было оставлять бутылки.

Шамиль вырвал из рук Аяна бутылку и прислонил ее к стволу дерева. Потом они долго молчали. Каждый думал о своем, но отлично знал мысли другого. Такое приходило к ним редко, после того как кончилось детство. Редко встречались они теперь.

— Как с диссертацией? Не кончил? — нарушил тишину Шамиль.

— Дела мешают, да и настроения нет.

— Статьи твои читал. Все читал. Мне понравилось. Рано или поздно эти вопросы были бы подняты. Но и ты, Аян, витаешь в облаках. Тебе надо многое переосмыслить. Может, следует начать с произведений, подобных моим «стихам». Бей Шамилей! Они наводнили литературу разной дрянью, издаются, выискивая любые пути. Но в последнее время ты, наоборот, замолчал, притих. Это нехорошо.

— Давай! Бей, бей теперь ты!.. — Аяну захотелось поговорить с Шамилем, они бы многое сейчас поведали друг другу. Но когда говорил один, другой всегда молчал. И он слушал теперь Шамиля и повторял про себя: «Давай, Шамиль! Это здорово! Бей за то, что я не понял, не захотел понять тебя!»

— Я не хочу с тобой ссориться. Говорю что думаю.

— Ты молодец, — Аян, улыбаясь, хлопнул по спине Шамиля. — Не таких уж плохих ребят выдает наш Шолактам.

* * *

Накрапывал мелкий дождь. Ветерок разбросал желтые листья по двору, они лежали огромными мохнатыми кучами, и капли громко стучали по ним. От ворот до дома чернели следы огромных кирзовых сапог Кошкара.

— Ах, как хорошо в ауле! — вновь восклицал Шамиль.

— Бабушка, уберите отсюда этих щенков! — закричал Кошкар, открывая капот синего «Москвича».

Бабушка, не выходя из дому, заступилась за детей:

— Что, съедят твою машину? Вечно кричишь на них... Что они тебе сделали? Пусть играют...

Дети внимательно выслушали бабушку и снова облепили машину. Открыли дверцы, с криком полезли внутрь.

Кошкар, навалившись животом на радиатор, молча начал подсос.

За время работы управляющим отделением совхоза он пополнел, стал грузнее.

— Наш старик тоже накопил на машину. Давай, говорит, купим «Москвич», — сказал Шамиль, ударяя ногой по баллону.

— Послушайте моего совета, — подал голос Кошкар из-под капота, — лучше ездить на осле. Поверьте мне. Этот год еще поезжу, а потом отдам Аяну. Намучился.

Аян не вмешивался в разговор. Мысли его были о предстоящей дороге. До шоссе его собирались проводить Кошкар и Шамиль, а там много проходящих автобусов. В одном из них он уедет. А здесь...

Осенний дождь словно ждал этого дня, тихо и ровно сеял. Аян посмотрел в открытую дверь: бабушки не было видно. Он знал, что она сейчас тоже думает о нем, о том, что он уезжает, и бог знает, когда снова приедет домой.

Днем он наконец решился и спросил:

— Бабушка, поедемте со мной в Алматы? Поедемте!..

— Ой, жеребенок мой, как я брошу их, — показала она на малышей. — Без меня и дня не проживут. Может, я и поехала бы... — и бабушка взглянула на Кошкара и сноху, собиравшуюся в школу. Алуа работала учительницей.

Она тотчас забеспокоилась и, скрывая недовольство, заметила шутливо:

— Бабушка и нам нужна. Езжай сам. Так тебе удобнее. Вдруг встретишь в пути девушку. А старуха помешает...

Дождь все усиливался, осенний мелкий дождь. Словно белый туман повис над землей. Желтая степь, начинающаяся от ворот, редкие на пашне трактора — все понемногу исчезало за водяной пылью. За огородами прокричал осел. Послышался гул самолета, пролетающего над аулом. И снова дождь...

— Ну, поехали, — скомандовал Кошкар. Аян вздрогнул от его голоса. — Ах черти! Марш к бабушке! Давай-давай, промокнете!

Мокрая дорожка змейкой уходила вперед. Аул уменьшался, дома сливались друг с другом, удалялись. Аян, обернувшись, смотрел на бабушку: кто-то из малышей у нее на спине, кто-то на руках, остальные рядом, словно прилипли к ней.

— Аул, аул родной! — Это Шамиль.

Машина запрыгала на ухабах, и Аян потерял из вида бабушку.

— Черт, дорога тяжелая, — заворчал Кошкар, выкручивая баранку. — Дорога плохая...

Плохая... Разве есть в жизни легкая, удобная дорога? Лишь бы человеком был, настоящим человеком, идущим по земле. Только о потерях дозволено говорить, ибо это твое развитие. И только то, что вошло в тебя с первых дней твоей жизни, то дорогое, что с тобой, пока ты идешь и дышишь, — поможет тебе. Детство, бабушка, запах молока... Вечный запах молока...

Валерий МИХАЙЛОВ

БЕРЁЗОВЫЙ ДЫМ

Весёлая невидаль
Подслушать свирель —
Берёзовой розовой
Рощи капель!

Сочащейся сладостью
Напоена,
Вся чистою радостью
Чаща пьяна.

Пенёк заливается —
Вешний алтарь,
И вся причащается
Живущая тварь.

Янтарные бабочки
В жемчужной парче
Как будто на лавочке
Угрелись в мечте.

Муравчики рьяные —
Прочь строгий режим! —
Шатаются пьяные
В берёзовый дым.

Жуки златорогие
Пьют залпом — бабах! —
Знать, в норы убогие
Ползти на рогах.

И тля расшаперилась —
Хоть капельку в рот! —
Всё нынче уверилось
В солнцеворот.

Не знаючи устали
До самой зари,
Берёзовой услади
Звенят хрустали!

* * *

Всё только начинается…
Плывёт по небу солнышко,
Листок летит, качается —
Прозрачной молви пёрышко.

Две бабочки сиреневых,
Две стрекозы малиновых
По-над землёй слетаются
И снова разлетаются
В объятьях крепдешиновых.

На воздухе колышимом —
Напевом еле слышимым
Их крылышек касание,
Шуршанье, трепетание…

А солнышко осеннее —
Как в золоте весеннее,
И неба бесконечнее
Летучее мгновение.

Листок летит, качается,
На ветерке колышется —
И песня не кончается,
А видится и слышится.

ЗЕМЛЯ

Празелень и вызелень
Всхолмий и лугов,
Плавной Ворсклы селезень,
Думчатость дубров.

Сосенные выхлесты,
Сизый посвист игл,
Ласточкины высверки,
Воздух быстрокрыл.

Рыжая подсолнушность
Выпаленных нив,
Лепет отрешенности
Длиннослёзых ив.

Ненагляднолю́бая,
Ро́дная земля!
Что таишь ты круглая,
Летняя моя?

Чую, дышишь словом ты —
Вглубь, и вширь, и ввысь —
Сине-злато-кованным.
Им ли не спастись!

Сенокосно-сладистым,
Млечно-земляным,
Цветяным и таистым,
Как зелёный дым.

«ЛИСАПЕД»

Нелепое слово *велосипед*,
Надутое, сиплое, двухколёсное,
Бабушка переиначивала в *лисапед*:
Лиса улыбалась в нём несерьёзная.
Из сказки лиса заявлялась в словцо,
Как из лесу…
Рыжим хвостом поводила,
Шалила лиса, смеялась в лицо
И весело на лисапеде катила.
Лисичке-сестричке лишь волка дразнить,
Кругом надувать простофилю, обманывать
И на лисапеде лихо катить,
В звонок рассыпчатый звонко звонить
И рыжий волнистый вираж закладывать.

МУЗЫКА

Музыка в словах невыразима,
Музыка в словах неразгласима,
Напиши хоть сорок тысяч книг —
А не объяснишь ты, что такое
Баха ли мерцанье неземное,
Ясный Моцарт иль хрустальный Григ.

Песня говорит лишь сердца слуху,
А случись быть нему или глуху,
Так на лик Бетховена смотри:
Мирозданья трепетные волны,
Музыкой Божественною полны,
Въяве ему пели изнутри.

Вот Рахманинов: лицом татарин,
Сам в себе, и утончённый барин,

Но в заморской чует он глуши
Русских рек раздольных колыханье,
Русских нив роскошное дыханье,
Свет серебряный родной души.

О, какие дали увидали
Те, кто сердцем небо услыхали
И страстей преодолели плен!
Все они писали Бога ради —
Мощный Глинка, жизнелюб Вивальди,
Вечный юноша — поэт Шопен.

И чисты, как очи Приснодевы,
Знаменные гулкие распевы,
Пламень их высокий не угас.
В них звучат, пред Богом одиноки,
Столпники, и старцы, и пророки
И взирает прямо в душу Спас.

Дар небес, звучанье в сердце Бога,
Бесконечная к Нему дорога
По-над миром, где святого нет,
Где бы ты вовеки не играла,
Всё ты, музыка, без слов сказала,
На душу пролив свой дивный свет.

НОЧНОЙ ДОЖДЬ

1

Я слушал дождь о тысячи листов,
Душа освобождалась от оков,
Как листья в темноте от знойной пыли,
И думы свежие куда-то плыли,
Свободно восставая и широко
Встречь мерно с неба льющего потока, —
То вольная взмывала ввысь душа,
Ночною чистой влагою дыша.

2

Дождь шёл всю ночь — и встречь душа парила,
Её несла неведомая сила
В пространство влажное, в его глухую тьму,
Где нету места воле и уму,
Где только шум вод многих и широких
И песнь о воздух капель одиноких,
Где слово растворяется вдали,
Как отзвук небу листьев и земли.

* * *

О ветре о тёмнозелёном шептались листы,
Воробышки пышно в пыли придорожной купались,
И девушки, свежие, как полевые цветы,
Душе своей, дикой, как мёд, глубоко улыбались.

И самозабвенно, великою негой полна,
Начала не ведая и конца-края не зная,
Неостановимая времени шла глубина,
Всё это куда-то с собой навсегда забирая.

ПАСЛЁН

Арбузы, полосатые, как тигры,
Дышали алым сахаром внутри,
Рассыпчатым, как солнечные искры,
Как сгусток пламенеющей зари.

А в дынях жил медовый зной бархана,
Раскосым золотом горел в веках,
Что вывел суры сладкие Корана
На их шершавых, как песок, боках.

И виноград как радостные слёзы,
Где в глубине зеленоватых вод

Сквозь времени мерцающие грозы,
Биясь, сердечко-косточка плывёт.

Мы услади растительной все — дети
И радуги и неги — испокон…
Но первой моей ягодой на свете
Был незаметный, словно жизнь, паслён.

По-за картошкой в нашем огороде,
На самых на задворках, где сарай,
Сам по себе он рос, как тень в природе,
И угощал как будто невзначай.

И гроздочек чёрно-лиловых сладость,
Чуть кисловатых, пряных, как трава,
Такую близкую дарила радость,
Что до сих пор понятна мне едва.

Любовь ШАШКОВА

СТЕПЬ

Акиму Тарази

Какой глубокий горизонт
Зимою под Карагандою.
Небесной мерянный верстою,
Чтоб даже взор достать не мог.

Чтоб даже птице — долететь,
Чтоб даже всаднику домчаться
Не в силах было. Оказаться
В степи зимою — та же смерть.

И здесь жила моя душа.
В безбрежности носима ветром,
Влекома к дальним миражам,
Не отторгаемая степью…

За неприметною Нурой,
Затерянной за снежной пылью,
Совсем, совсем иной порой
Здесь те же горизонты плыли.

А поезд мчится наугад
Стальной дорогой от вокзала,
От той меня, что век назад
Свою колейку не узнала.

Небесной мерянный верстой
Не нами путь наш обозначен.
Гляжу на степь во мгле пустой.
И узнаю ее. И плачу.

ТАУ-ТУРГЕНЬ

Клубится по горам туман,
Проволглый день ввергая в морось.
Но ты в его просветы глянь:
То не осенний поздний морок, —

То влага, то дожди весны,
Что гонят и торопят зелень.
И облак будущей листвы
Уже светлеется сквозь темень.

И вон, отряхивая дождь,
Урюка ветви задрожали.
И это зарожденья дрожь,
И это мир в его начале.

И раздвигая полог мглы,
Блеснув небесными очами,
Луч первый кончиком иглы
Прошил пространство меж горами.

И вот уж край небес задет,
Захвачены холмов престолы,
Еще чуть-чуть — и хлынет свет,
И озарит холмы и долы!

ДОЛИНА

1

Проснуться с перекличкой петухов
И теньканьем невидимой пичуги.
И дальнее мычание коров
Ещё добавит благости округе.

И утро будто вымыто насквозь —
Горит, переливается, играет.
И легкий бриз то вкупе, то поврозь
Листву карагачей перебирает.

И этот самый мирный из миров,
Лежащий меж тургеньскими холмами, —
Неужто же в смещении основ
Затрясся ночью ходуном под нами?!

Что, что там в прорве каменной дрожит?
Что в нас ответным ужасом качнулось?
Чу! Успокойся! Это рыба-кит
Слегка в подземных водах повернулась…

И встанет день. И лучший из миров
Животворящим светом будет залит.
И пение соседских петухов
Твою ночную жуть перегорланит!

2

В ладонях гор покоится долина —
Цветущий край на Божий рай похож.
Когда ж дрожит он дрожью исполина,
О чем она — земная эта дрожь?

В ладонях Господа тепло лежит Земля.
На ней безумств и скверны — через край.
На всё, Владыка, воля есть Твоя.
Но и во гневе рук — не размыкай…

ПОРА БАРБАРИСА

1

Над шумливой речкой склоны
Рыжим пламенем взялися.
Мир, вчера еще зеленый,
Входит в пору барбариса.

В пору позднего тепла,
На зиму запасов бренных,
Чтоб и дальше жизнь текла
С терпким привкусом осенним.

2

В путанице диких веток
Мир колюч и фиолетов.
В нем горит шиповник жарко,
Рясна спелая боярка.

Сквозь колючки продираюсь:
То повинность или радость?
То забава иль забота?
Чу! Свистит на ветке кто-то:

— Эй, подружка, не неиствуй!
Первый заморозок стукнет,
Облетят шальные листья —
Станут ягоды доступней.

Ты права, ведунья-птаха,
Ведь и мне в предзимье этом
Откровенье поздних ягод
Драгоценнее, чем летом.

3

По тургеньским рыжим склонам
Вьется вниз ребячий гомон
И бурлит, сливаясь с речкой,
И течет под небом вечным.

Длить и длить бы эту связь
Беспечальных светлых звуков,
Чтоб, играя и смеясь,
Жизнь перетекала к внукам.

Оралхан БОКЕЕВ

КАМЧИГЕР

Под луной —
под луной сиротливая юрта белеет,
и низко склонилась к порогу
та женщина в черном, вдова

Под луной —
под луной широко расстилается степь,
темно-рыжая в лунном отливе
И добра, и щедра наша степь,
точно мать всех батыров,
доверчиво льнущих, уставших, уснувших навеки, —
последний приют и последняя песня
О наша казахская степь!

* * *

С песьим воем рвется ветер из ущелья Туйе-Таса. Этот нудный и злой ветер способен опрокинуть всадника вместе с конем. И от него каменеет лицо, и тягуче выцеловывает он алую краску губ, ветер ущелья Туйе-Таса.

Две скалы вонзаются в небо сверкающими копьями, а зеленая седловина обрывается стремительно уходящей вниз пропастью, на дне которой нашли приют редкие лиственницы. Ущелье Туйе-Тас: непокорный ручей Шарыктыбулак кощунственно плюет в небо белыми хлопьями пены, и ветер с песьим воем скользит по холодным отвес-

ным стенам, готовясь вырваться на простор, но со всего разбега ударяется упругой грудью о черную скалу, мертвенным стражем стоящую у самого выхода. Скала эта напоминает гигантского злого верблюда, отсюда и название местности — Туйе-Тас, ущелье Туйе-Тас.

У самого подножия скалы тесно прилепилась скромная юрта, и скала надежно защищает ее от ветра. А больше нет здесь человеческого жилья, да и быть не может — одинокую юрту окружают суровые утесы, угрюмые скалы, могучие деревья. И кажется, что жизнь здесь замерла много веков назад — забытое богом, далекое, туманное, молчаливое место, дикий, отчужденный кусок иного мира, живущего по своим, одному ему известным законам...

Женщина с кувшином, закутанная в шаль, легкой походкой скользнет к ручью за водой и скроется в юрте. И опять тишина. Тишина, густая, как утренний туман, тишина, которая настороженно прислушивается сама к себе. Дикое, пустынное, мрачное место...

Слышен гортанный клекот горного ручья, да зловещее уханье филина доносится. А как сладко пахли здесь весной горные тюльпаны, но миновало лето, осень жадно дохнула, опалила цветы леденящим своим дыханьем, — и сникли цветы, побурели травы. Горьким духом полыни пахнет нынче в горах, горьким запахом увядания и сухости.

Путник, остановись — и ты увидишь крепкого коня, привязанного к юрте, такого большого, что кажется — губами он может коснуться звезд, а задними копытами оттолкнуть от себя землю.

С заката до плотной темноты стоит он здесь, а потом пасется, стреноженный, на лужайке за юртой. И — темнота, и лишь отблески огня пробиваются из дыр в кошме да легкий дымок вьется над тундуком. Ветер ущелья Туйе-Таса подхватывает дым, играет с ним, мчит его дальше, дым жилья, дым, насыщенный запахами вареного мяса. А когда над утесом восходит звезда Шолпан, с тихим скрипом отворяется дверь жилища — и на порог вы-

ходит хозяин коня, сутуловатый ширококостный великан. Жигит долго смотрит на яркую луну, вздыхает и идет проведать коня. Лениво глядит он, но цепкие его глаза видят из-под нахмуренных бровей каждую травинку.

Медленно бледнеет небо, а кругом тишина, и бешено катится луна, едва поспевающая за уходящей ночью.

Молчит небо. Молчат камни. Крепок утренний сон, о путник! Крепок утренний сон, а кругом — тишина, черный лес, синие горы, серая юрта. Крепок утренний сон...

На стене висит его тяжелая камча с медным шариком на конце, сплетенная из двенадцати крепких ремней. Камча — кормилица, камча — спасительница камчигера. Не добыть без камчи удачи, не наполнить черный казан вкусным мясом. Корову с теленком отдал он за нее мастеру, и висит его камча, как всегда, на почетном месте.

Однако что это? Появляется влага на медном шарике, растет, тяжелеет и обрывается каплей... И вот уже новые капли мерно падают — кап-кап-кап — мерно падают капли, хотя и рукоятка и плеть камчи совершенно сухие. Да что же это? Откуда эти теплые полновесные капли, пахнущие миндалем и кобыльим молоком? Как в песок впитываются капли, падают капли, пахнущие миндалем и кобыльим молоком...

Доскей лежит неподвижно, и кажется ему, что это хмельной вкусный кумыс пролился на него из волшебного торсыка. Он лежит неподвижно, и капли волшебного пьянящего кумыса увлажняют его глаза, и хорошо у него на душе, и хочется рассказать жене о чудесном кумысе.

Но она спит и досматривает сон о весенней песне. Слышно легкое дыхание ее, и он хочет повернуться, обнять ее, рассказать ей о чуде, но будто злые чары сковали его, и он не может шевельнуть ни рукой, ни ногой.

— Камка! — шепотом зовет он.

Но молчит, зловеще молчит спящая женщина.

— Камка! Камка! — в ужасе кричит он.— Камка! Камка, проснись!

Молчание и тишина, мертвая могильная тишина. Тишина и леденящее душу молчание.

А из камчи все течет и течет кумыс... Переполнив глазную впадину, бежит он уже и по щекам жигита, хмельной, пьянящий, волшебный, вкусный кумыс.

«Будь что будет!» — решил Доскей и разжал губы.

И тут же замер от ужаса и отвращения. Кровь! В ноздри ему ударил соленый запах свежей человеческой крови! Крови!

— Кровь, это кровь, чья это кровь, Камка? Скажи, ты знаешь? Камка, скажи, скажи мне, скажи!..

...Он вздрогнул всем телом и открыл глаза. Все лицо его было мокрым от слез. Он осторожно скосил глаза на спящую жену, но Камка спала, и, успокоенный тем, что она не слышала, как он кричал, Доскей вскочил на ноги и вышел из юрты.

До полуночи небо было чистым, ни единого пятнышка на небе, а теперь вдруг закрыли его тяжелые свинцовые тучи и серый дождик без устали сыпал на землю мелкую водяную пыль. Гнедой конь потемнел под дождем и стоял, понуро опустив голову, поматывая ею, как от зубной боли.

И Шарыктыбулак вышел из берегов, и горы зябко кутаются в сумрак, угрюмо молчат, смирившись с осенним ненастьем, — покорно никнет земля, обессиленная обильным горячим летом.

Доскей отвязал коня и повел его под широкую крону лиственницы. На обратном пути прихватил седло, что мокло, брошенное под дождем у самого порога юрты.

Камка по-прежнему спала, сладко посапывая, разметавшись во сне, и его охватила злоба.

— А ну хватит валяться! — закричал он. — Вставай, я есть хочу!

Он сел за дастархан, и ноздри его задрожали от непонятного гнева. Жена, испуганная, чувствовавшая себя виноватой, быстро согрела козлятину, оставшуюся от ужина, и поставила ее перед ним, но он и не притронулся к мясу.

— Волос попал. Выбери волос из мяса, — глухо сказал он и, отшвырнув миску, снова улегся, накрывшись с головой тяжелым шекпенем из верблюжьей шерсти. Однако тут же отбросил шекпень в сторону, словно тот душил его, и глубоко, жадно стал хватать ртом воздух. «О создатель! Ух!» — приговаривал он, и вздохи его были похожи на рыданья.

Камка никогда не видела мужа таким, вот почему, удивленная, робкая, она присела на корточки близ очага и не решалась ни о чем его расспрашивать. С жалостью и любовью глядела она на его почерневшее от гнева лицо, а он все ворочался и ворочался, не находя себе места...

— Камка! — наконец выдавил он, приподнявшись. — Камка, где моя камча?

— Как — где? — не поняла она.— Висит. Как всегда. Висит у тебя над головой.

— Выброси ее!..

— Зачем? Что ты говоришь? — Она глядела во все глаза, но он молчал, и она отвернулась, молча сняла плетку со стены, положила ее рядом с седлом и замерла, уткнувши голову в руки.

Камча! Тяжелая его камча с медным шариком на конце, сплетенная из двенадцати крепких ремней. Корову с теленком отдал он за нее мастеру и никогда не жалел об этом, ибо камча — кормилица, камча — спасительница, камча — единственный друг жигита-камчигера. Не добыть без камчи удачи, не наполнить черный казан вкусным мясом, не выжить в этой злой и одинокой жизни. Камча! Камча делала его сильным и неуязвимым, камча сопровождала его в самых дерзких, самых удалых набегах, и вот... и вот глядит он на нее странно-безжизненным и потухшим взглядом. Он велел ее выбросить, а ведь без камчи не добыть ему пищи, не выжить...

Он велел ее выбросить, он унизил камчу, он унизил себя и понимал, что поступком этим как бы перечеркивает всю свою прошлую жизнь, полную риска, борьбы,

приключений. А ведь он так любил эту жизнь — свист пуль над ухом, бешеное дыхание погони, сладкую радость при виде поверженного врага.

И вот он выбросил, унизил, проклял камчу, а все потому, что во сне ему, видите ли, что-то почудилось. Подумаешь, кровь! Мало ли он в своей жизни видел крови, и не он ли, смеясь, всегда говорил жигитам, что любой другой хлеб, хлеб, не связанный с риском и смертельной опасностью, показался бы ему пресным...

Он заскрипел зубами, повалился на бок и замер как мертвый, прикрыв глаза. Так и пролежал он почти до полудня, и никак нельзя было понять — спит иль бодрствует он.

И нешуточная тревога охватила Камку, потому что никогда, никогда не видела она мужа таким, вещая бабья тревога охватила женщину.

— Боже, неужели его убьют? — прошептала она, глядя в огонь очага, где потрескивал хворост. И впервые со времени замужества почувствовала она себя заброшенной и одинокой, впервые со времени замужества проснулась в ней острая тоска по людям, по аулу. Она вспомнила добрые материнские руки, и слезы катились по ее щекам.

Отряхиваясь, откашливаясь, отплевываясь, в низенькую дверь вошли шестеро жигитов, и женщина, взяв себя в руки, встала навстречу гостям. Все шестеро были молодцы что надо, парни из рода Каратай, с другой стороны Туйе-Таса.

— Где Досеке? — спросили они, не заметив в полумгле великана Доскея, распластавшегося у стены и напоминавшего спящего медведя.

— Вон лежит, — тихо сказала женщина.

— Заболел никак?

— И сама не знаю... Может, и заболел.

— Досеке! Эй, Досеке! Что с вами? Захворали? Это же мы. Мы приехали. Ну поднимите же голову.

Он не шелохнулся.

— Кто это — вы? — спросил он раздраженно и глухо, не глядя на вошедших.

— Мы. Ваши младшие братья. Осень пришла, вот мы и приехали. Мы же собирались осенью прогуляться в аул Керей, мы ведь так договорились... Эй, Досеке, да проснитесь же вы! Вы что, умерли?

Доскей рывком поднялся, и жигиты, сгрудившиеся над ним, испуганно отшатнулись.

— Я не сплю, — прорычал он. — И я пока не умер. А вы возвращайтесь домой. Дорога не будет удачной, и в ауле нас подстерегает беда. Я знаю.

— Но, Досеке, мы так ждали этого дня... — обескураженные жигиты умоляюще смотрели на него, будто не разбоем звали заняться, а уговаривали отправиться с ними в Мекку, к святым местам.

— Я знаю, — упрямо повторил он. — Все! Уходите! Хватит!

И снова отвернулся к стене. А жигиты, потоптавшись и не скрывая своего разочарования, стали по одному выбираться из юрты.

Доскей молчал. Рассказать, что ли, о своем сне жене? Да что она понимает, баба, в мужских делах? Да и что она вообще понимает, дрянь, что она может? Сына и того не смогла ему родить.

— Эй, Камка! — грубо крикнул он. — Сухое пузо! Когда порадуешь меня сыном?..

Женщина застонала, будто ей дали пощечину, и подняла на него глаза, полные слез.

— Зачем? Зачем ты так? — выдохнула она.

И он не выдержал ее горького, безнадежного взгляда — ведь никогда она не слышала от него таких жестоких слов. Он вскочил и приказал ей:

— Хватит ныть! Надоело мне твое нытье! Зови этих волков, я уезжаю!

Она, всхлипывая, вышла из юрты, и он с жалостью и раскаянием смотрел ей вслед.

— Что? Что со мной происходит? Что? Что со мной? — шептал он.

* * *

Конники наконец выехали на перевал Марака, и их взору открылась глубокая серебряная чаша озера Айнаколь, на берегу которого раскинулся аул Керей.

Аул был ясно виден сверху, как альчик на ладони сорванца. У привязи топчется добрый десяток коней, женщины в белых жаулыках доят овец, а островерхих мужских шапок что-то не видать. Не дай аллах, если кто-нибудь из тех, что внизу, поднимет голову и заметит их, не дай аллах! Но никто, на их счастье, не поднял головы.

— Вцепились в своих овец, как клещи! — Доскей ухмыльнулся, коротко взмахнул сложенной вдвое камчой, и жигиты бесшумно потекли вниз, лишь красные камни, шурша, как ящерицы, сползали вслед за ними. Вскоре всадники скрылись в прибрежных зарослях, как растаяли.

Этот осенний день выдался на редкость ясным, и было безумием нападать средь бела дня на аул, где мужчины, конечно же, были отменно вооружены и могли дать сокрушительный отпор камчигерам, тем более что было их всего семеро, включая Доскея, который замер в карауле. Но нетерпение, нужда и бахвальство, объединившись вместе, все же толкнули жигитов на этот дерзкий грабеж. Доскей видел, как, приблизившись к аулу, они вынырнули точно из-под земли и разом погнали своих скакунов, молча пригнувшись к их гривам.

На прибрежных заливных лугах, среди зарослей рогоза и куги, паслись аульные кони, которые при появлении незнакомых всадников мигом почуяли недоброе и рассыпались в разные стороны. Лишь небольшой табунок растерянно крутился на месте, с одной стороны остановленный озером, а с другой — отвесной скалой. Жигиты погнали табун на перевал Марака, и Доскей невольно залюбовался добычей. Были здесь и широкогрудые скакуны, и огневые, горячие неуки, и стройные иноходцы с лебедиными шеями — добрые кони у керейцев, гордые, сильные!

Доскей смотрел в сторону аула и видел, как кони, опомнившись, стали разбегаться, отталкивая друг друга крупами, и как его товарищи не могут справиться с захваченным табуном. Был он зоркий и опытный страж, и никому другому, конечно же, не мог доверить караул, но бешенство охватило его при виде беспомощной возни юных жигитов. «Скорее, скорее! — шептал он неизвестно кому. — Да скорее же, вы, олухи!»

И тут до его слуха донеслось истошное:

— Каратайцы! Каратайцы! Камчигеры! Конокрады!

Эх, если бы не всполошился аул, он сам бы мог всю добычу угнать, а этим соплякам нужно было всего лишь до перевала добраться, а они оплошали. Сам бы угнал, сам бы все сделал...

Но — поздно. Через миг уже вынеслись из аула наметом шестеро всадников.

Это не испугало его. Шестеро так шестеро, и не в таких переделках бывал. Хладнокровно и гордо встал он на пути преследователей.

Тем более что жигиты Керея забыли в спешке свои дубинки, соилы, и в руках у них были только плетки, так что само провидение шло на помощь Доскею.

Всадники летели неудержимо. Камчигер резко бросил коня в сторону, и лавина преследователей промчалась мимо. Хохоча во все горло, призывая всех своих предков, он послал коня им вслед, с бранью врезался в кучу всадников и снова вырвался на простор, отобрав на скаку все шесть плеток у незадачливых противников. Он вырывал плетки из рук и прижимал их ногой к седлу, как козла на кокпаре. Делая круг, успев привязать добычу к седлу, он бросил невольный взгляд на своих жигитов, и губы его искривила злая улыбка. Его товарищи сбились в кучу и с тревогой следили за боем. Всех коней до единого, конечно же, упустили.

— Эй, вы, вислоухие псы! Безмозглые щенки! — взревел он.

И, скрежеща зубами, погнал коня на испуганную кучку безоружных керейцев. Разгоряченный конь запля-

сал, прыгнул и понесся, старясь на скаку укусить себе грудь. И не керейцев уже преследовал Доскей, а к своим оплошавшим спутникам мчался, и лицо его дышало яростью. Увидев его, те так и брызнули врассыпную.

Но грозный окрик вдруг остановил Доскея:

— Стой, стой, собака!

Оглянувшись, он увидел плечистого жигита средних лет на рослом скакуне с белой звездочкой на лбу. Враг бешено мчался прямо на Доскея, и глаза его были белыми от гнева, а в руке он сжимал тяжелую дубинку с острыми металлическими шипами. Доскей, даже не успевший испугаться, бросился навстречу новому врагу, отлично понимая, что теперь только поединок решит, на чьей стороне удача.

— По могиле соскучился? — жарко выдохнул он, целясь коню в переносицу.

Но он промахнулся и, хлестнув коня прямо по звездочке, рассек ему кожу так, что даже кость у коня забелела, а крови не вышло ни капли. И противник даже не успел поднять свое страшное зубчатое оружие, ибо конь врага закрутился на месте от боли, и кереец, не ожидавший такого быстрого удара, никак не мог совладать с ним. Доскей успел поправить косынку, закрывавшую его уши, и нанес еще один удар. В этот раз — по спине керейца. Овчинная безрукавка всадника треснула, и круп коня окрасился темной кровью, а в следующий миг и конь и всадник рухнули на землю.

Доскей благодарно посмотрел на свою камчу, со свистом рубанул ею воздух и, гордый победой, погнал скакуна к своим.

Он угрюмо молчал, спускаясь с перевала впереди своей шайки, и жигиты тоже молчали, страшась прервать его молчание. Боевой азарт, злость от недавней схватки — все прошло, и они ехали молча, понимая свою вину и оплошность. Добыча была безвозвратно потеряна, и это жгло стыдом, ибо велик их позор, позор трусов и неумех, перед их предводителем Доскеем. Но он мол-

чал. Уж лучше выпорол бы он их плетью, — правда, что бы тогда от них осталось? Вся округа знает его тяжелую руку и его страшную камчу.

Спуск кончился. Ехали рощей, густым кустарником... Добравшись до Сайлау, Доскей придержал коня и, сойдя с седла, привязал уздечку одного коня к хвосту другого, другого привязал к третьему — так образовался круг.

А Доскей все молчал и молчал. Не спеша снял он верхнее платье, размял затекшую правую руку и сделал ею несколько резких движений, разгоняя кровь. Присев на камень, он сорвал какую-то травинку и потянулся за ножом. И тут же резко вскочил, ибо на пояске у него болтались лишь пустые ножны.

— Тьфу! Проклятье! Нож на охоте потерял! — буркнул он, и тотчас к нему протянулись шесть кинжалов.

Хмыкнув, не глядя, он взял один из них, надрезал травинку и стал ковырять ею в зубах.

— Ожидайте меня здесь, — вдруг сказал он.

— А вы куда?

— Куда, куда! Туда! Еще не было случая, чтоб я возвращался от керейцев с пустыми руками...

— Мы тоже поедем. Обжегшись на молоке, на воду дуют, так что не будет больше у нас ошибок, — заговорили жигиты.

— Нет, — отрезал Доскей, продолжая ковырять в зубах. — Теперь нам не угнать табун, потому что все в ауле настороже. А я попытаюсь увести коня караульного жигита.

— Досеке, возьмите и нас с собой, — канючили жигиты.

— Что-о-о? Да вам и с бабой не справиться, не то что с табуном! Еще раз хотите меня подвести, ишаки мокрохвостые! Сидите здесь и не высовывайтесь! — презрительно сказал Доскей.

Жигиты пристыженно молчали. И Доскей взлетел на коня.

* * *

Переменчиво и непостоянно осеннее небо. Всего лишь час назад не было на нем ни облачка, даже с рыбью чешуйку не было облачка на изменчивом, как ртуть, небе, а сейчас вон все оно обложено плотными свинцовыми тучами. Да вдобавок и ветер поднялся, западный ветер. И зловеще и тоскливо зашумели верхушки деревьев, и вздыбились волны на Айнаколе, бьются о неприветливый берег. А тучи, одетые в рваные шубы, разносят скорбь по земле.

Доскей привязал гнедого к дереву и крадучись подошел к стреноженному коню сторожа. Прислушался, но никаких тревожных звуков не уловило его чуткое ухо — лишь волны плещут да деревья стонут под напором ветра.

Конь не давался чужаку. С какой бы стороны ни заходил Доскей, он поворачивался к нему задом. Сообразив, что, осторожничая, он только напрасно теряет время, Доскей выпрямился, ухватил коня за хвост и с силой потянул его вниз. Жеребец хотел лягнуть его копытом, но уже не смог приподнять внезапно отяжелевший зад. А жигиту того и надо было — развязав путы, он прыгнул было на коня, но кто-то, опередив его, кошкой бросился ему на спину, и на коне Доскей очутился уже с этим неожиданным грузом. Забросив правую руку за спину, Доскей так плотно прижал к себе напавшего, что тот невольно застонал, не в силах высвободиться или просто шевельнуться.

Доскей дал коню шенкеля и кинулся прочь. Отъехав подальше от аула, он вытянул из-за спины своего пленника, бросил его перед собой поперек седла и только теперь, разглядев его, весело удивился:

— О, мать твою!.. Весу в нем меньше, чем в козленке, силенок что у воробья, а туда же — на жигитов нападать!

Сторож, худой, маленький, похожий на подростка, испуганно молчал, втянув голову в плечи, и Доскею внезапно стало жалко его.

— Ладно, черт с тобой, отпущу тебя, — проворчал он и мощной рукой отбросил свою добычу далеко в сторону. Сторож, удачно приземлившись в кустах, отряхнулся и мигом пустился наутек, а Доскей крикнул ему вслед:

— Скажешь своим, что встретился с Доскеем-камчигером. Это я, и не приведи тебя аллах еще раз встретиться со мной!

Затем он разыскал своего гнедого и снова двинулся в путь сквозь темень и ненастье, ведя в поводу украденного коня.

* * *

Когда они добрались до Черного Кургана, пошел мокрый снег вперемешку с дождем. И все вокруг было залито густой, как чернила, темнотой — ни зги не видать, ни отблеска, ни огонька. Черная, равнодушная ночь, безлюдное, дикое место...

Поднялась метель. Ветер бил наотмашь, выдувал крохи тепла из рукавов, лез за воротник. Кони жались друг к другу, с трудом переставляя ноги.

А дорога становилась все тяжелее. Дорога? Да какая же это дорога! Тропку, еле видимую, занесло снегом, и шли они по наитию, руководствуясь чутьем, догадкой, интуицией, не зная верного пути. А может, они уже давно потеряли тропу? Впереди шел Доскей, ведя второго коня в поводу. След в след, волчьим аяном, брели за ним жигиты. Брели спотыкаясь, брели падая, ибо давно уже потеряли они представление о времени и о дороге. Куда? Куда их ведут? И зачем, когда тропа давно потеряна? И что за бесцельный путь, и зачем идти дальше — куда дальше? Все дальше и дальше от родного дома?

— Досеке! Где дорога? Подохнем мы здесь, подохнем!..

— Что-о?

— Не пойдем! Нет сил! Заблудились, заблудились! — хныкали жигиты.

— Ну что ж! Пусть сожрут вас собаки керейцев!... — жестоко крикнул Доскей и, пришпорив коня, поехал вперед.

Жигиты опешили. Они знали, что самим отсюда им нипочем не выбраться, и, собрав остатки сил, потащились следом, ворча, как побитые псы.

А буран все крепчал, и не было никакого просвета в густой туманной хляби. Усталые, злые, пряча лица от ветра, недобро поглядывали члены шайки на своего предводителя и сердито понукали своих измученных коней.

Доскей остановился.

— Эй, кто-нибудь! Сюда! — гаркнул он.— Пошарьтека, нет ли тут моего ножа.

Один из жигитов скатился с коня и полез в снег, туда, куда указал ему Доскей.

— Есть! — крикнул он, и свита камчигера радостно зашумела — за неделю до набега Доскей разделывал здесь тушу горного козла, здесь и нож свой выронил. И это означало, что вовсе не сбились они с пути, что находятся они в окрестностях Туйе-Таса, а значит, и дом недалеко.

— Молодец, Досеке, с ним не пропадешь! — горланили жигиты, но, однако, не торопились идти вперед. Они прекрасно знали, что впереди их ждет опасная пропасть, и рисковать жизнью здесь, в двух шагах от дома, не хотелось никому из них.

А камчигер задумался, и казалось, что мысли его затеяли кокпар — рвут, раздирают на части его сеппир, каждая к себе тянет. Тяжело. Воет ветер, словно собака по покойнику, воет и ноет душа. Словно покинутое людьми место, тосклива и пуста его душа, ибо предчувствие страшной беды тревожит его...

Жил он гордо и одиноко, ни перед кем шапку не ломал, никому никогда не кланялся, ни перед кем не заискивал. Ходил в набеги, чтобы кровь разогнать да

наполнить свой черный казан, самому пропитаться и прокормить жену. Но все труднее и труднее стало орудовать ему камчой. И не потому, что с годами ослабела его рука, — силы ему не занимать. Все чаще и чаще задумывался он, меняя кожаный браслет-петлю на рукоятке камчи после очередного набега, над тем, что снова кто-то лежит, обливаясь кровью, с пробитым черепом или изуродованной спиной. Так и летели его годы, буйные и невеселые, в заботах о хлебе насущном на сегодня и о набеге на завтра. О аллах! А ведь он ни на кого из своих противников не таил зла. Он и лица-то их редко запоминал, а его помнили и ненавидели многие. Но что ему до людской злобы, сильному, смелому, независимому? Нет, не было у него врага. Не было достойного врага, так считал он... Не встретил он на своем жизненном пути настоящего своего врага, лютого, умного, коварного... Были кровавые стычки, но не было, не было врага...

Так с кем же он воевал всю свою жизнь?

...Жигиты пропустили его вперед, и он тихо дремал в седле.

Тропа шла над пропастью, тропа была шириной в волосок и острее лезвия ножа — тропа над пропастью Суык-шат.

Всадники спешились и вели коней в поводу. Здесь нужно было соблюдать особенную осторожность: чуть оступишься — и полетишь в пропасть до самого дна, до самого ручья Шарыктыбулак, и там на острых валунах найдешь свое последнее успокоение. И недаром называли окрестные жители эту низкую тропку «мостом праведников», ибо суеверно считали — если кто здесь, на свою беду, разобьется, то в глазах правоверных мусульман навечно останется грешником.

Доскей шел впереди, и за ним, как стая шакалов, плелась его незадачливая шайка. Лоб его взмок от напряжения, руками, камчой нащупывал он предательскую тропу.

— Берегись! — успел крикнуть он, срываясь вниз, и утесы Горного Алтая многократно повторили его последнее предупреждение.

И снова жуткая тишина наступила в горах. Шесть «праведников» благополучно прошли по «мосту в рай»...

* * *

Страшно покалечился Доскей, но ум и память его оставались ясными.

Треснувший череп его перетянули вымоченным ивняком. Дерево давило и причиняло невыносимую боль, несмотря на то, что под прутья в несколько рядов положили куски ситца. Посинели и вздулись синие жилы на лбу, дрожали руки...

И все же могучий камчигер не стал бы носиться и с этой раной, встал бы, пошел бы, превозмогая адскую боль, но у него было раздроблено правое бедро, а костоправа он вызывать не стал. «Бесполезно, — бормотал он. — Знахарю тут не справиться... Бесполезно, бесполезно...»

В шкуру только что зарезанной ярки, где белела пленка подкожного жира, набили подорожников и туго спеленали изувеченную ногу, накрепко затянув сверху шерстяной толстой ниткой, и показалось камчигеру, что полегчало.

К нему потянулись гости. Приехали проведать храброго жигита аксакалы и карасакалы Каратая, были родственники и товарищи-одногодки. Все они уговаривали его присоединиться к своему народу, не упрямиться, пока еще большая беда не пришла в его дом. Но не поддался на их уговоры камчигер, выросший на воле, дичившийся людей, пуще всего на свете ценивший свое одиночество, свою тесную юрту, свое опасное и темное ремесло.

— Если придется умирать, только Туйе-Тас будет мне могилой, — вскипел он однажы, и родственники,

вздохнув, больше не заговаривали о переезде, увидев, что упрямца не переупрямить.

Подвело жигита его некогда могучее тело, но дух его остался крепким. Когда приехали к нему седые старцы, он сел с ними за дастархан, приволакивая больную ногу и еле сдерживаясь, чтобы не закричать. От боли в глазах его выступили слезы, но он давил ногу пальцами и хохотал:

— Шайтан бы забрал эту ногу! Зачем мне такая нога? На мелкие кусочки раскололась, проклятая. Вот давлю и чувствую, как кости трещат...

Но как бы ни скрывал он свои страдания, как бы ни насмехался над бедой, люди видели, что лоб его при этих словах перепахивали морщины, он бледнел и обливался холодным потом. А бывало и так, что, только гости ступали за порог, он терял сознание и падал без чувств.

Камка молча плакала, и камча сиротливо висела на стене. Только двое, двое в целом мире, женщина камчигера и камча камчигера, были свидетелями жестокой схватки между жизнью и смертью, разыгравшейся над его изголовьем.

Как-то навестили его даже и жигиты Керея, аула, которому он принес столько несчастий. Некоторые из них злорадствовали, но другие жалели больного и невольно восхищались его мужеством.

Так и тянулись его горькие дни. Как-то в сумерках Камка напоила его горячим чаем, и он долго гладил ее шелковистые косы.

— Думал я умыкнуть красавицу у керейцев, да вот разбился, — пошутил он.

Жена плакала, и он, желая развеселить ее, долго болтал о пустяках, рассказывал были и небылицы, а потом неожиданно и крепко заснул.

Камка с надеждой глядела на его пожелтевшее и осунувшееся лицо, ей вдруг показалось, что еще не все потеряно, что день-другой — и случится чудо, пойдет на поправку ее бедовый муж. Затеплилась, засветилась слабой звездочкой надежда в ее сердце.

Она вышла на улицу и долго смотрела на горы.

Затем расчесала челку гнедого, обняла его стройную шею и снова заплакала:

— Добрый, верный друг! Неужели мы останемся одни?..

...Капает и капает теплая влага с камчи, знаменитой, тяжелой камчи с медным шариком на конце, камчи, сплетенной из двенадцати крепких ремней. Капли, отрываясь, падают ему на глаза. Это светлые, прозрачные капли. Он тянется к ним пересохшим ртом, сухими губами. Он жадно ловит, жадно глотает эту чистую влагу, но горечь обжигает ему гортань, ибо это — слезы... Его слезы...

Доскей с трудом очнулся от сна, и ему стало еще горше от сознания собственной беспомощности и от глубокого раскаяния. Он посмотрел на жену. Камка спала, и лишь тихая улыбка светилась на ее измученном лице. Он осторожно подполз к ней, шевельнул ноздрями, жадно вдохнул родной запах ее кожи. С трудом подтянувшись, сорвал со стены камчу.

Край шкуры, облегающей ногу, отогнулся, и в нос ему ударила тяжелая вонь гниющего мяса. Он немного постоял. Стоял сморщившись, то ли от боли, то ли от приступа тошноты. А отдышавшись, снова пополз на корточках, опираясь на рукоять камчи и стискивая зубы.

Опершись о стояк юрты, он медленно выпрямился и, тяжело хромая, поковылял к двери. Там, собрав все свои силы, толкнул створки — и в юрту ворвался октябрьский холод.

Камчигер вывалился наружу и долго не мог отдышаться.

Передвигаясь по-прежнему, ползком, он собрал раскиданные бычьи шкуры и сложил их аккуратной стопкой. Эти шкуры он копил не один год, шкуры угнанных быков Застонав, почти теряя сознание, повалился он на эту стопу.

Потом он развязал ногу и, надавив пальцами на рыхлую, как тесто, кожу, оставив на ней глубокие вмятины, усмехнулся и покачал головой. Оглянувшись, увидел, что конь повернул к нему голову и как бы приготовился

к прыжку, как бы приготовился победно заржать, взвиться на дыбы, унести его от преследователей, от беды, от горя, от болезней, чуть ли не от самой смерти.

«Божья тварь! Все, все понимает», — ласково подумал он и тут же вскочил как ужаленный. Какая-то неведомая ему самому, необычная сила подняла его и не дала упасть. Скрипя зубами от боли, он хлестнул камчой по стопке сухих шкур и все их до одной, как мечом разрубил.

Его шатало из стороны в сторону. Он глядел на дальние снежные вершины, глубокие туманные пропасти, и вся жизнь прошла перед его взором.

Жалел ли он о молодости, когда, загнанные, падали под ним самые злые кони? Жалел ли он о сладкой славе удальца, чье имя гремело в степи? Или о жизни жалел, короткой, словно рукоять камчи, уходящей, скоротечной? Или о полынной горечи существования думал он? А может быть, подкралось наконец к нему одиночество и вонзило ему клыки прямо в сердце?

Кто знает... Но что-то сладко заныло у него в груди, и он впервые в жизни заплакал, плакал трудно, плакал неумело.

Он плакал. Он стоял на здоровой ноге, и рыдания сотрясали его могучее тело. Потом, как вырванный бурей дуб, он тяжело рухнул на землю.

Заалело небо. Близился рассвет. Чужое небо и чужой рассвет, ибо не стало больше на земле могучего камчигера.

Самые сильные жигиты не могли разжать его кулак, настолько крепко зажал он в нем камчу. Тут и уснул он навеки, с камчой в руке, напряженно прислушиваясь к неземному покою. Старики велели было отрезать кисть, чтобы добыть камчу, но Камка воспротивилась этому.

— У него нет сына, который бы унаследовал его оружие, — всхлипывая, кричала она. — Были они при жизни неразлучны, пусть будут вместе и на небесах.

Так был нарушен закон шариата, и впервые камча камчигера была похоронена вместе с ним. Давно это было, и много воды утекло с тех пор.

Под луной —
под луной сиротливая юрта белеет,
и низко склонилась к порогу
та женщина в черном, вдова

Под луной —
под луной широко расстилается степь,
темно-рыжая в лунном отливе
И добра, и щедра наша степь,
точно мать всех батыров,
доверчиво льнущих, уставших, уснувших навеки, —
последний приют и последняя песня
О, наша казахская степь!

Перевод Роллана Сейсембаева.

Назикен АЛПАМЫСКЫЗЫ

ПРИЗНАНИЕ

Такие знанья мне даны — не избежать печали,
Хоть и бегу я от неё, и прячусь от толпы.
Но вновь блуждаю в темноте, как было и вначале,
И к человеческим сердцам не нахожу тропы.

Казалось, много знаю я, а вышло, что крупицы.
Судьба гнала меня не раз и сталкивала в ров,
И надо мной моя печаль кружила чёрной птицей,
Но я карабкалась на холм, вновь под небесный кров.

Ползла, срывалась, и опять из тьмы стремилась к свету.
Я расскажу, как совесть жжёт, каким горит огнём
Душа болящая моя, зовущая к ответу,
Но я не знаю до сих пор, куда мы все идём.

Где справедливость? Где она? Ложь острыми шипами
Пронзает истины мои и распыляет яд.
И сплетни травят день за днём смертельными парами
И чувств, и помыслов благих мой сокровенный клад.

Нет сил быть рядом день за днём то с пустотой,
то с ложью,
И падать в пропасти, и там бесовской тьмой дышать.
Хочу о тайном промолчать — но с трепетом и дрожью
О своих тайнах говорю, я говорю опять!

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Жизнь и Смерть — словно ловчие птицы.
На тугуре[1] судьбы им ютиться.
Они вместе явились на свет.
Жизнь моя, нам досталось кружиться
Возле Смерти, и с нею сродниться.
Ось одна, и другой у нас нет.
И зачем унывать мне в печали?
Всё пройдёт — и откроются дали,
И туда мы со Смертью пойдем,
Как с подругой.
Так было вначале,
Когда нас на пороге встречали
В миг рожденья, заснеженным днём.

Жизнь промчится в мгновение ока.
Смерть-сестрица, не мучай жестоко
И в согласье со мною живи,
Пока в битве земной ненароком
Не разбился, воспетый пророком,
Хрупкой Жизни светильник любви.

Жизни путь — это брод через море,
И не всякий тот путь переспорит,
Но без Смерти — и Жизнь не мила.
А кто мёд собирает и с горя,
Тот изведает радости вскоре,
Будто к счастью тропа привела,
В новый край заманила дорога...

Коль споткнусь — не суди меня строго,
Поддержи меня, друг, не молчи!

---

[1]Тугур (каз.) — шест-подставка, на котором сидит ловчая птица.

Раз уж мы, по велению Бога,
Два глагола звенящего слога,
Две тесьмы крепко свитой камчи.
Человек — смесь греха и страданья,
Свои слабости держит он в тайне.
Божий раб, не кляни бытиё!
Даже звёзды с высот мирозданья
Вдруг срываются, мчатся в скитанья
В миг любой,
чтоб сгореть, как былье.

Но скажи, не равны ли величьем
Жизнь и Смерть на шесте своём птичьем?

XX ВЕК

Бушует море! Среди волн-громад,
Где бурь стихии сталкивает ад,
Смогу ли выплыть, если дух мой болен,
Когда в душе моей такой разлад?

И если плыть на ощупь, наугад,
Сраженье гневных волн одолевая,
То доплыву ль до берега, не знаю,
Иль утону,
хлебнув смятений яд?

Вся жизнь — как море.
Каждый миг твой путь
Пересекает схватки шквал грозящий.
И каждою зимой, в мороз свистящий,
Боюсь я до весны не дотянуть.
Стучи же, сердце, и не уставай!
И чувств поток пусть не узнает край,
Не высохнет до дна, не обмелеет.
Хоть тяжко бремя Жизни — поднимай!

Всё сущее в борении живёт.
Неужто страх-печаль меня согнёт?
Тебя я, Жизнь, люблю со всею страстью,
Хоть бьёмся на смерть мы — не на живот!

И ты не раз меня сбивала с ног:
Мои мечты блуждали без дорог,
Губил желанья вихрь кровожадный.
Но выстояла я. И день за днём
Всё длится спор. Душа горит огнём,
Как век двадцатый,
самый беспощадный.

ВЫБОР СЕРДЦА

Печалилась я...
Ты не смог угадать
Желания, скрытые в сердце моём.
Печалилась я...
И жалела опять,
Что белый рассвет не встречали вдвоём,
Что белые ливни счастливых долин
Не стали большой полноводной рекой.
Из чистых жемчужин сердечных глубин
Ты мне ожерелье не сплёл, дорогой.
Как волны, причудлива прихоть моя —
Её переливам не смог угодить.
Где б ни был, в каких ни ходил ты краях —
Ко мне не тянулась дорог твоих нить.
Все стороны света скрывали тебя...
Ты славил ли Тенгри за встречу со мной?
Да вряд ли...
Но только вот, кроме тебя,
Никто на земле не был выбран судьбой.
Всю жизнь моё сердце искало — тебя.
Хоть ты и отрёкся от клятвы своей,

По-своему сердце решало — тебя
Звало.
Догоняло в мелькании дней
Моё одинокое сердце — тебя,
Не слушалось сердце меня никогда...
Не надо судить меня, люди, за то,
Что песней единственной стала беда.
Верна я мелодии этой святой.

* * *

На всё гляжу с сомнением давно,
И вглядываюсь в даль, но там — темно.
И, воздевая к Небу свои руки,
Кричу:
«Зачем неведенье дано?
Миг жизни светлый, радости и муки,
В чём суть твоя и в чём твоё зерно?»
Мир — многомерен, люди говорят.
Он запредельным разумом объят.
Кому он — светоч, а кому — и бремя.
Всевышнего душа — на всех одна.
С рожденья мудрость — мудрецу дана.
Ростки ума взойдут, как в почве семя.
И если не погубят зной и время
Заложенные Небом семена,
Довольна буду я...

Но жизнь — скитанье.
Одеть словами мысли нелегко,
Чтоб не найти прорех в том одеянье.
Когда бы сокровенное сиянье
Небесных дум, рождённых высоко,
Передала я людям в Слове новом,
То под великим, под небесным кровом
Смогла бы семь печатей я сломать

На тайнах мирозданья, я б посмела!
И первозданность, как странице белой,
Словам затёртым возвратить опять.

Была б мечта моя тогда бесстрашной.
Была б я в дружбе
с каждой тайной важной,
И нужное из тайников брала.
Вселенную легко бы облетала,
И ведала тогда бы я, и знала,
Как мне собратьев защитить от зла.
Душе и мыслям, люди говорят,
Лишь пламя — кровный
и надёжный брат.
Не угасай же, светоч моей веры,
Пока жива и светится мой взгляд!

ВЕРА

Где вера — там Бога явленье.
Нет веры — душа сирота,
И беды преследуют тенью,
И жизнь коротка и пуста,
И ты беззащитен от века,
И жалости нет ни к кому.
Нет веры — и нет человека,
И нет покаянья ему.

Кто верит — не знает обмана,
Так люди давно говорят.
Хоть полон огня и тумана
Их путь — не затмится их взгляд.
В душе их, от веры цветущей,
Сиянье, презревшее смерть.
Пройдут они райские кущи

И адских котлов круговерть.
И душу, и лик человека
Они сохранят в том пути.
Но если нет веры — калека,
Опоры тебе не найти.

Ты мечешься, слеп без подсказки,
То в атом ты веришь, то в бред
Чужих лжепророков, то в сказки,
В такие, где выхода нет.

Кто Тенгри отвергнул — заблудший,
Не выпрямить рабской спины.
Темны их смятенные души.
Пути в неизвестность темны.

МЕРА

Всему есть мера: злату и нужде.
Ведётся счёт и счастью, и беде.
А кто не слышит времени движенье,
Кто расточает краткие мгновенья,
Тому держать желания в узде,
Под бедность подстилать ему терпенье...

А жизнь — игра. Она проходит тенью.
Но всё имеет и цену, и вес.
За прибылью народы гонит бес
И угрожает вечно разореньем,
И род за родом в гонке той исчез...

За всё Создатель спросит. Будет счёт
За каждый шаг, за каждый день и год.
И разве даром что-нибудь даётся? —
За всё есть плата. Есть всему расчёт.

Ведётся счёт на Небе всякой доли.
Творец качает маятник времён:
Сейчас — богатство, через час — урон,
Ложь — и насилье, смех — и слёзы боли.

Но человека жизнь — всегда одна.
Бесценна, драгоценна лишь она.

Перевод Надежды Черновой.

Нурлан ОРАЗАЛИН

* * *

Мир как лис хитер... Вводит нас в обман.
Я не тем порой восторгался.
Нет покоя мне, в мыслях — сплошь туман.
Как же это я так попался!?

С криком пролетит стая в небесах.
Грудь теснит мою голос страстный.
От досады я пальцы в кровь кусал,
каялся — увы, понапрасну!

Беспричинно я — гас и оживал...
Безрассудно я — шел на пламя...
Душу мне саднит, а усну едва —
будит вновь меня эхом память.

Мир хитер, как лис... Вводит нас в обман.
Мы подчас не тем восторгались.
Сна-покоя нет, в головах — туман.
Но, печалясь, мы на его обман
вновь и вновь с тобой поддавались!..

* * *

Кто-то верит в тебя…
Кто-то, может, не верит…
Ну и пусть!
Будь уверен в себе безраздельно,
мой друг.
Пусть надежды свечу не задует
неистовый ветер,
Пусть не меркнет спасительной
веры огонь на ветру.

Кто-то принял тебя...
А кому-то ты стал неугоден...
Ну и пусть!
Пусть обносят тебя клеветою, нещадно браня!
Только звучная песня твоя, воспарив к небосводу,
Пусть баюкает горы высокие, нежность храня.

Может, кто-то смолчит...
И ни слова не скажет худого...
Может, кто-то зашепчет завистливо,
зло за спиной.
Только пусть будет честным
и праведным каждое слово,
пусть людей поразит
оно ясной своей глубиной!

* * *

Грустил
и смеялся
и тихими плакал слезами...
Душа безотчетно плутала в безоблачном небе...
Но новая песня взмахнула тугими крылами
и в сон опустилась как белая лебедь.

И голос во мне пробудился —
с его пробужденьем
вдруг стало мне внятно
звучание ангельской речи.
Свидания птицы и песни мне было виденье,
отныне живу в ожидании встречи.

Весна многоцветием душу мою полонила.
И лебедь, на воду крыла опустив, затихала.
И, птице подобно, что голову нежно склонила,
дыхание мир затаил, околдован стихами.

Грустил
и смеялся
и тихими плакал слезами...
Одно лишь заботит меня — сокровенные песни.
И не о чем тут толковать нам!
Я болен стихами,
что птицей спускаются в сны мои из поднебесья.

Напевам чудесным в груди завсегда было тесно.
И в пылкой душе моей все ликовало и пело.
Кааба моя
и Судьба — непокорная Песня,
что в сны опускается гордою лебедью белой.

* * *

Не надо мерить на одну колодку.
Прошу, не беспокойся, не спеши.
У каждого из нас своя походка,
Свои утехи для больной души.

У каждого из нас
свои печали,
И голос свой у каждого из нас.

И каждому назначен изначала
И миг рожденья,
и последний час.

Одних заботят лишь земные вещи.
Другому от Всевышнего дано
Сердца тревожить словом звучным, вещим
Да, каждому лишь то — что суждено.

Так будет вечно...
Зеленеют почки...
За летом осень...
Следом холода...
Январь...
Февраль...
Не знает Бог отсрочки,
И время не настигнуть никогда.

Прийти,
уйти...
Нет горше нашей доли,
Но в этом жизни суть и естество.
Все остальное, знаю, в Божьей воле,
И человек всего лишь раб его.

У каждого из нас своя дорога...
Все решено давно на небесах...
Да, доля каждого из нас от Бога,
А жизни взвесят
на людских весах...

* * *

Я с детства о тебе, Поэзия, мечтал
И верил — в жизни нет надежнее опоры.
Я рифмами весь мир переплетал,
Пульсацией строки биенью жизни вторя.

Быть может, что в сердцах я лишнее сказал.
Менялся круто мир...
И время вынуждало...
Но если вдруг порой я от стихов бежал,
Поэзия меня на миг не покидала.

Я в стужу пламенел и холодел в огне.
Я много повидал
И ошибался много.
Превратная судьба не потакала мне —
Тернистою тропой я вышел на дорогу.

Какой бы ни была изменчивой судьба,
Поэзия меня на миг не покидала.
«Несчастный! — скажешь ты. — Она сильней тебя!»
«Счастливый! — я скажу. — Она не предавала!»

* * *

Храни меня, Создатель,
От зависти и порчи,
Капризов и апатий
И от пороков прочих,
Слепой, ничтожной мести,
Обманов и соблазнов,
Ползучей липкой лести,
И от речей заглазных,
Гордыни непомерной,
Слепой бездумной страсти,
От гневных слов и скверных,
И от лихой напасти.
Не дай в тоске оглохнуть
От горестных страданий.
Не дай душе иссохнуть
В бесплодных ожиданьях.
Храни меня, о Боже...

Мне никуда не деться!
И мой удел, похоже, —
Жить на разрыве сердца!

* * *

Мир уже на краю безысходности...
Вера в загоне...
Небо яд источает,
Земля обратилась в золу...
Это «божьи рабы» преступают людские законы
И потомков своих учат дьявольскому ремеслу.

И во мне кровь то стынет, то хлещет бурливым потоком,
Точно бьет через край,
разрывая плотины, вода.
Вновь по лику земли расползаются бесов потомки,
Словно полчища тли, саранчи беспощадной орда.

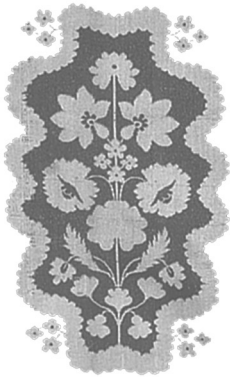
Чувства, мысли мои,
Вы — как в доме пылающем дети...
Неужели так краток и мал вам отмеренный срок?
Снова демоны мрака в обличии ангелов света
В человеческих душах с презрением сеют порок.

Только муторно мне от разлада в душе и разброда.
Все бушует в груди, океаном могучим ярясь.
Заплутавшее сердце с небесного ясного свода
Низвергаясь, летит прямо в липкую черную грязь...

Выжигает меня изнутри мысли огненной пламя.
Гаснут песни и тают, как горы в туманной дали.
О Тенгри, защити этот мир своей щедрою дланью...
Я боюсь, опрокинется небо, коснувшись земли.

Перевод Кайрата Бакбергенова.

Я ВЕЧНОСТИ ПОЮ...



Янка СИПАКОВ

ПАРТИЗАНСКИЙ ПАРАД

Теперь, когда Радославу приходилось видеть кадры старой кинохроники или давние фотографии того знаменитого партизанского парада, он внимательно всматривался в них, словно где-то за не очень стройными колоннами, среди пестрой толпы счастливых людей хотел отыскать и себя — малого, босоногого, в большой отцовской шапке, в которой было просторно даже его давно не стриженной и лохматой, как воронье гнездо, голове. Всматривался, и перед ним как бы шире, длиннее становился тот июльский день, словно раздвигался горизонт, и ему как бы виделось то, что оставалось вне снимка, что не попало в кадр, но что именно тогда было и теперь само собою всплывало в памяти.

Вокруг лежали руины. Бывшие дома — чьи-то уютные довоенные квартиры — широкими проломами в стенах и еще большими дырами на месте бывших окон (проемы казались еще огромными и потому, что в них были выбиты и стекла, и рамы) израненно глядели на улицы. Да и улиц, собственно говоря, не было: засыпанные щебнем, заваленные глыбами сцементированного кирпича, с воронками от бомб, с расплавленным стеклом и скрюченным железом, они выглядели мертвыми и заброшенными — по ним трудно было не только проехать, но и пройти.

И повсюду пепел, пепел и пепел. От легкого дуновения ветра он начинал тлеть в развалинах, и тогда казалось, что это снова набирает силу огонь, что вот сейчас, вдруг среди углей рассыплются искры, и город снова вспыхнет, чтобы опять долго гореть и дымиться.

Город уже не был городом. Город был сплошным пожарищем. И пахнул он пеплом, углем так, как пахнут все пожары в мире, — даже было страшно, что эта гарь никогда не выветрится.

И все же в нем — заканчивалась вторая неделя после освобождения — уже обживались люди: кое-где в проломе виднелся свежий, еще не почерневший от времени лист случайно найденной и вставленной фанеры; кое-где на подоконнике незастекленного окна уже стояли полевые цветы в блестящей банке или чудом уцелевшей вазе; кое-где, смастерив наскоро двери из снарядных ящиков или из жести, женщины приставляли их к уцелевшим углам в разрушенных домах, выбранных себе под временное жилье.

В городе, несмотря на большую радость, царила тишина. Даже стук молотков, доносившийся из руин, — кто-то что-то прибивал, устанавливал, навешивал — совсем не мешал ей, этой тишине, и как бы сам становился тишиной. Тишина царила везде. Она словно обволакивала эти приятные звуки мирных забот, пока те не растворялись в ней и не делались такими же незаметными, как дуновение ветра, звон солнечных лучей, шелест деревьев, оставшихся живыми.

И еще запомнился ему с того далекого дня цокот конских подков по вымощенной улице, которую миновали бомбы и которая чудом осталась нетронутой. Вот прошло уже столько времени с того лета, а в ушах все стоит цокот подков — словно те лошади и сегодня еще идут перед ним по улице.

Сегодня Радослав ждал гостя.

Он положил фотографию на стол, включил магнитофон и отошел к окну. Магнитофон слегка пошипел, затем хрипло кашлянул и заговорил:

— Ты спрашиваешь, как это было? А вот так и было. В свой районный городок мы, как теперь помню, вошли восьмого июля. Утром, значит, там еще немцы были, а в обед мы пришли. Всей бригадой. Несколько дней отдохнули, пожили спокойно, а тут приказ: отобрать человек по тридцать-сорок лучших партизан из каждого отряда и своим ходом, верхом на лошадях, в Минск, на партизанский парад послать. У нас тогда в бригаде было четыре отряда. Вот и считай, сколько набралось, — сотни полторы. Я тоже лучших хлопцев выбрал — к тому времени я уже командиром партизанского отряда был. Лошадей мы своих, значит, осмотрели, у кого были плохие, слабые — заменили и поехали верхом в Минск. Однако «прогулка» так называемая, должен тебе сказать, была еще не очень тихая. Понимаешь, хотя наши войска и пошли вперед, но немцев вокруг, тут, в лесу, осталась еще тьма. Мы, значит, из пущ повыходили, а они на наше место в лес позашивались. Вот мы и получили приказ забирать их по дороге.

Сдавались табунами. Еще издали руки вверх поднимали. Полицаи в прострации какой-то были — ну, ей-богу, с ума посходили. Они в немецкую форму поспешно переодевались, ибо немцев в плен брали, а их, собак, на месте, бывало, расстреливали... Двое суток мы, значит, шли — до Минска же, считай, сто сорок километров. В Столбцах новое задание получили — немного свернуть влево, назад вернуться и там лес почистить — очень много в нем собралось немцев. Почистили — и снова выбрались на свою дорогу… Переночевали мы в Лошице. Лошадей перековали, у кого, значит, подковы за дорогу отошли, — а мы брали с собой и подковы запасные, и клещи, и молотки, чтобы было все под руками, — сами от пыли отряхнулись, в порядок себя привели. Нам медали сюда привезли, вручили. Мы костры зажгли, да так возле них до утра и просидели; а летняя ночка, сам знаешь, какая короткая, не успел за ухом почесать, как уже и солнце встало. Веселый табор, должен тебе сказать, получился. Костры кругом горят, на

них ужин варится, из соседних деревень люди пришли, сидят у огня, смеются вместе с партизанами, песни поют. Вокруг, значит, лошади наши пасутся, и, поверишь, так уж нам хорошо сидеть вот этак было, костры жечь смело и не бояться, что враги их заметят. Понимаю, понимаю, что тебя парад интересует, а я тебе сказки рассказываю, как мы шли к нему. Но парад быстро промелькнул — раз-два, и прошли, а добирались мы к нему долго. Потому и рассказываю... («Слушай, о козле не забудь», — доносится женский голос. Радослав знает, что это вмешивается в разговор жена партизана. Но тот отмахивается: «Погоди, не мешай мне. Надо, чтобы все было по порядку...») Значит, вошли мы в Минск, вот как раз с той стороны, где теперь Дворец спорта стоит. Города совсем нет. Повсюду одни руины, битый кирпич, щебень... Только Дом правительства цел среди этих зданий-привидений, один торчит — даже не верится, что он не разрушен, что один над развалинами возвышается. Ну, выехали мы, помню, на мощеную мостовую. Лошади наши как зацокали по камням — а в городе тихо-тихо, словно он после пережитого грохота дышал одной только тишиной и никак не мог поверить, что война для него окончилась, — навстречу нам стали выходить люди. Стоят, улыбаются, руками даже машут. Лошади цокают, а я своим партизанам и говорю: «Хлопцы, проверяйте, кому надо подковы подтянуть, — на камнях оно хорошо слышно, где что звякает. А то завтра там не будет времени этим заниматься». А хлопцы тоже смеются и сами, как те герои, людям руками машут и даже «ура!» иногда крикнут. А какой-то мальчонка — худенький-худенький, заросший-заросший, что и ушей не видно, а шапка у него огромная, как то решето, — подбегает ко мне и подает мне на лошадь букетик простых васильков…

Стоп, стоп, стоп! Не спеши, магнитофон. Ему хочется снова услышать тот цокот и снова увидеть того мальчугана…

Они с матерью только вчера вернулись в город из леса, из партизан. В их довоенный дом попала бом-

ба — он лежал теперь грудою кирпича, а потому они с трудом нашли меж руин уцелевший уголок на втором этаже, выбросили из него кирпичи, вымели щебенку и даже дверной пролом занавесили скатертью, сохраненной матерью в партизанах. Как он радовался этому пристанищу! У него был свой дом, свое жилье, куда, он, побегав, как петушок, по пепелищу, мог вернуться, взбежать по уцелевшим ступенькам, отдернуть занавеску и посидеть, отдышаться. Дома! Когда хочешь, можешь заходить сюда — глянь, как приветливо колышется дверь-занавеска, то слегка открываясь, то загибаясь совсем, словно сама просит каждого смелее входить.

Значит, у него с мамой был уже свой дом. А еще у него была своя небольшая тайна, — за день успел разжиться и тайной. Среди руин он нашел чистенькую полянку, заслоненную со всех сторон грудами кирпича и бетонных балок из соседних домов, осевших щебнем, — совсем как горы: и туда глянешь — ничего не видно, и сюда посмотришь — тоже ничего не видно. А на этой поляне — словно и не было над ней войны — росли васильки. Такая синева расстилалась под ногами! И еще здесь зеленел раскидистый розовый куст, — не палисадник ли был разбит чьими-то заботливыми руками на этом месте до войны? Правда, розы были уже срезаны. И совсем недавно, видимо, — это он узнал по свежему срезу. Но на кусте еще нежилось несколько бутонов. И из них уже выглядывали лепестки новых цветков. Ничего, пускай растут. Со временем он принесет их домой, поставит в комнате — найдет какую-нибудь жестянку, нальет в нее воду и поставит! А пока он нарвет вот этих васильков! И принесет их в свою комнату! И порадует мать!

Но мать не очень обрадовалась.

— Сынок мой, а зачем же ты эти цветочки сорвал?

— Так я же их среди развалин нашел, на полянке...

— Пусть бы, сынок, на полянке они и росли… Ты посмотрел, порадовался, пусть бы и другие посмотрели…

— Так их же не видно. Я же говорю, что они в развалинах…

— Но ты же заметил? Может, и другие, как и ты, увидели бы.

Он стоял с цветами в руках и не знал, что с ними делать. И в этот момент он услышал цокот лошадиных подков по мостовой, даже знакомое, хоть и не очень громкое «ура!», и стремглав бросился за занавес, выскочил из дома.

По улице, обминая ямы и щебень, ехал конный отряд. Много конных. Цокали копыта, смеялись люди. Впереди на буланом жеребце ехал плотный мужчина в кубанке. Низко, на длинной цепочке, свисала сабля в блестящих ножнах, задевая коня. Пшеничные усы были закручены вверх, отчего лицо мужчины выглядело еще более радостным и веселым. Мальчонке показалось, что он подмигнул ему, и он подбежал совсем близко к коню, вытянув тоненькую, как былинка, руку, и подал мужчине в кубанке маленький, нагретый детской ладонью букетик синеглазых васильков.

И тут же, прихрамывая, отошел в сторону: конь наступил ему на ногу, нога с ободранной кожей сильно заболела, хотелось закричать, заплакать, но он сдержался и не заплакал — стоял среди взрослых и махал, как и все, руками...

— Ну, значит, приехали мы на тот пустырь, где народ должен маршировать. До войны там был то ли ипподром, то ли стадион. А после войны, это уже позднее, тоже где-то там фашистов вешали — возмездие народное свершалось. А тогда мы приехали, а там, на этом пустыре, значит, народу, народу! Откуда-то взялся козел, по траве бегает, немецкими медалями звенит, дети за ним носятся, резвятся, норовят за бороду схватить. Я теперь уже и не помню, какой отряд — не «Борьба» ли? — привел этого козла. А козел оказался совсем ручным, не пугливым, среди лошадей и детей ходит — никого не боится. Вот на него, на животное это, и нацепили партизаны фашистские медали да кресты разные. Даже большие трофейные очки к ушам привязали. Потому дети и носились

вокруг этого козла — за хвост его хватали, пальцами показывали, кричали: «Гляньте, Гитлер! Гитлер!» Даже жаль было, что сорванцы так издеваются над невинным существом... («А ты о мальчонке, о мальчонке расскажи. О том, что саблю хотел отобрать», — снова вклинивается женский голос, и снова партизан перечит ему: «Не лезь ты, баба, в мой разговор. Дай мне самому выговориться. Дойдет очередь и до мальчонки».) Так вот. Там и девчат, и женщин сколько! А веселые какие! Платочки, косынки сняли, машут ими! А красивые какие, ну, все как одна! Одну, мне показалось, я уже где-то видел. Глаза голубые-голубые, а волосы пушистые-пушистые и в кольца завиваются. И платье на ней тоже голубое — как небо. «Не маши так руками, а то нас с конем испугаешь», — смеюсь. «А кто из вас более пугливый — вы или конь?» — спрашивает. «Конь», — говорю. «Тогда завяжите ему глаза, чтобы не пугался», — советует она. «Острая на язычок дивчина, — подумал. — Вот бы такую в жены взять: весело в хате было бы...» Позднее, когда мы уже, значит, пошли, вспомнил, где ее видел: как ехали сюда, она стояла у дороги и тоже махала косынкой. Я тогда еще удивился, что такие голубые глаза могут быть у человека. Ну, значит, идем мы верховым строем. А лошади, как двинулись, спокойнее стали, а то как стояли — всё дергались: оводы им покоя не давали. А на параде все как положено — трибуна стоит, наскоро построенная, обтянута красным, на ней руководители правительства, военные, Иван Данилович Черняховский, — помню, я его узнал на трибуне. Стоит молодой такой, красивый. Он вскоре после этого парада и погиб: недалеко же еще фронт гремел. Маршал с парада, говорят, сразу на передовую и поехал. А перед нами все же выступил. И поблагодарил белорусский народ, что пополнил его армию. Понимаешь, по генеральским планам после освобождения Белоруссии планировалась остановка, чтоб оживить поредевшие полки свежими силами. Но такая остановка не понадобилась: как влилось в армию многочисленное войско на-

ших партизан, так эта проблема тут же была и решена, и фронт, значит, не останавливаясь, погнал фашистов дальше. Красиво, должен я тебе сказать, мы у трибуны прошли. Словно все эти годы только тем и занимались, что ходили в лесу, как на параде. А у меня, понимаешь, небольшая, как теперь говорят, накладка вышла. Только мы тронулись, только пошли, как слышу я, кто-то меня за саблю дергает. Ну, понимаешь, на парад мы даже и сабли нацепили свои. В лесу, правда, мы их не носили. Вначале как-то увлеклись было ими — почти все повесили, и кому надо, и кому не надо. А потом посбрасывали: в лесу сабля только мешает — и за корчи цепляется, как идешь, и за можжевельник, и за сучья-веточки. Да если и пользоваться ею, к примеру, приходится, то сильно не размахнешься — кругом деревья, только листьев да лапок, может, и насечешь. А здесь мы уже и сабли нацепили. Чтобы красивее и солиднее на лошадях сидеть. А у меня сабля хорошая была: сталь прямо блестит — как в зеркало можно глядеться, сам себя видишь. Слышу, значит, что кто-то за саблю дергает, назад ее тянет. Гляжу, а это мальчонка. В большой-большой, как решето, видимо, отцовой шапке. Кажется, даже тот самый, что утром мне на лошадь цветы подавал. Но тот, я помню, бежал ко мне быстренько, а этот — какой-то совсем хромой. Я и глазами, и грозно хмуря брови, даже руками показываю малому, чтобы отошел, чтобы не мешал, а он словно и не слышит, словно не видит, что я от него хочу: вцепился, как клещ, в саблю и не выпускает ее из рук, рядом идет. А тут, значит, и трибуна близко. Тогда я нагнулся, схватил малого — он легонький-легонький, как воробушек! — посадил его впереди себя, да так с ним и проехал перед трибуной. Мальчонка даже под козырек взял. На трибунах заметили нас, показывали в нашу сторону головами, улыбались. Но я все равно, как проехали, ссадил мальчонку и, рассердившись, хотел даже шлепка ему задать, что испортил мне парад, но он, хотя и хромая, быстро отскочил от меня — не достал я...

Радослав подошел к магнитофону, щелкнул ручкой переключателя, отмотал немного назад ленту и, услышав слова: «Слышу, значит, что кто-то за саблю дергает...» — снова пустил его и прибавил звук, — ему еще раз захотелось послушать обо всем этом, чтобы снова вернуться в то время, чтобы внимательнее рассмотреть самого себя, так сильно уцепившегося за саблю. Зачем она ему понадобилась, что он хотел тогда, Радослав и теперь не знает, не может объяснить, не помнит; но помнит он очень хорошо, что держался за саблю, и правда, очень цепко. Помнит, как крепкие руки подхватили его и посадили на лошадь, помнит, как он был счастлив, сидя там. Сыромятно пахло кожей и войлоком седло, буланый конь пахнул потом и пылью, впереди была его длинная грива, и он держался за нее, а сзади тяжело сопел и дышал прямо ему в шею партизан — именно вот так, он помнит, сопел и дышал ему в шею отец, когда перед самой войной долго катал его на велосипеде.

Радослав снова подошел к окну, глянул на улицу, по которой торопились люди, и ему показалось, что это он смотрит не со второго этажа своей квартиры, а с той, давней лошади. И даже показалось, что сзади дышит ему в шею тот самый, уже найденный теперь, партизан. И поплыли перед глазами счастливые лица участников парада, которые он, держась за гриву лошади, видел сверху, они что-то кричали, улыбались, — и мальчонке казалось, что люди и кричат, и улыбаются именно ему. Там, где они ехали, стояла густая, пронизанная солнцем пыль, но он не обращал на это внимания, как и все остальные люди — и те, что шли и ехали в колоннах, и те, что стояли на обочинах и приветствовали их.

Теперь Радослав понимал, что тот партизанский парад, на котором ему посчастливилось проехать на одной лошади с командиром лесного отряда, особенный: таких парадов нигде в мире, кажется, не было... Кроме, возможно, одной Югославии.

Да, он был потом в Югославии. Видел, как там чтут память партизан. В каждой деревеньке, в каждом селении — музей, памятник. И деревенька бывает такая маленькая, на несколько изб всего, а и в ней свой музей, да какой еще большой, да с какой заботой ухоженный.

Он тоже гордился сейчас своим парадом: как это здорово, что партизаны — двадцать тысяч лесных мстителей! — сразу же после освобождения Минска гордо прошли по его руинам, которые еще пахли пожаром, мимо людей, которые еще не опомнились от темной, как длинная ночь, оккупации. Да возможно ли когда-нибудь от этого опомниться человеку? Конечно, нет. Ибо пройдут даже десятилетия, а та ночь будет снова и снова повторяться и в снах, и в воспоминаниях людей, переживших ее.

Он задумался, его воспоминания были так глубоки и сосредоточенны, что он даже не заметил, как закончил свой рассказ партизан. Радослав встрепенулся и, возвращаясь в сегодняшний день, отошел от окна, прислушался к магнитофону. Говорил уже женский голос:

— ...А нам ведь хочется на тот парад бежать. Это же не шуточки — наши освободители будут идти. Партизаны! Да как много их будет! А мы же в городе партизан не слишком-то и видели — они старались не показываться. Только уж тогда, когда немцам удавалось их поймать, когда их, бедных, вешали, тогда нас выгоняли смотреть. Потому мы и представляли их с бородами, в кожухах. Как леших. А какие мы еще тогда человеки были? Дети! По пятнадцать — семнадцать годков только и было. Глупые еще были, как котята. И на парад этот бежали не только чтобы посмотреть, а если удастся, так и с каким-нибудь партизаном познакомиться: война-то войной, малые-то малые, но у девчат девичье на уме. Там же хлопцев, думали, много — ну и что, что они бородами заросли. Узнаем, смеялись, молодого и под бородой. Потому и наряжались к этому параду у кого во что было. А у меня, хоть умри, не во что нарядиться. Посмотрел на меня мой дядя, пожалел и принес тетино шифоновое платье. Го-

ворит: «На, надевай, чего оно валяться будет». Тетю гестаповцы убили во время облавы на Комаровке. А она ростом была такая же, как я. И платье оказалось мне как раз впору. Материал, как теперь помню, голубенький-голубенький, словно небо. Но он такой тоненький, прозрачный, просвечивает насквозь — все видно. А у меня же комбинации нет, чтобы под платье надеть. Что делать? На голое тело ведь тот шифон не наденешь. Тогда я старое пальто взяла, подкладку отпорола, вымыла ее. На рукавах, правда, она была порвана, а мне же те рукава и не нужны, я их и отрезала. А сама подкладка была целая, атласная. Как пошила я из нее себе сарафанчик, бретелечки сделала, оборки придумала, так хоть ты в ней и без того шифона иди — такая красивая одежда получилась. Ну, значит, побежали мы на тот парад. И так уж бежали, что, поверите ли, даже розы забыли взять, которые до этого нашли меж руин, срезали, поставили в жестянку на подоконник выбитого окна — думали потом партизанам подарить. Но, торопясь, значит, и забыли. Прибежали мы туда, а там народу-народу! Стоять и то уже негде. Стали мы на обочине, где росли репейник, полынь. Полынь истоптали ногами — столько же по ней людей прошло! — и она так запахла, ну словно одеколон тот. Стоим мы, значит, на обочине, разговариваем, а тут вдруг кто-то и говорит: «Девчата, гляньте, и сучки немецкие здесь стоят». И правда, стоят. Да не вдалеке, а близко стоят. Вперед пробились. Волосы накрутили, буклей на голове наделали и улыбаются уже партизанам. Только что с немцами этаких паненок из себя строили, фашистам улыбались, а здесь уже и с нашими заигрывают. А мы же их хорошо знали и видели, как к ним немцы в гости ходили. Одна едва меня на тот свет не отправила. Идет она, вы слышите, с каким-то немецким офицером под руку, а вторая рука у немца забинтована, на перевязи. Так я возьми да и скажи ей: «Ну что, хоть однорукого, но нашла себе хахаля, немецкая подстилка». Я думала, что немец не понимает по-нашему, но он понимал. «Что

сказаль?! — кричит и здоровой рукой кобуру расстегивает, за пистолетом лезет. И она, сучка, кричит: «Стреляй скорее этих большевистских выродков, а то они сами нас постреляют!» Я тогда еле удрала. А теперь и она, сучка, стоит и вместе с такими же, как сама, партизанам улыбается. Мы тогда подошли ближе и как бы меж собой, но громко говорим: «А этим, подстилкам немецким, что здесь надо?» Эх, как услышали они это, вы бы видели, как они рванули, пыли подняли больше, чем лошади… В чем партизаны шли, спрашиваете? А кто в чем. Во всех колоннах женщины и девчата впереди шли — партизаны их вперед пропустили. Жарко, солнце, пот льется, а у них, помню, платочки под подбородком и назад вот так повязаны. И на ногах — у кого что. Кто в ботинках, кто в бурках — аккуратненько так пошиты, — кто даже в лодочках — где только те лодочки и сохранились. Лёля, соседка наша, помню, в сапогах шла... А мужчины некоторые почему-то в ватниках маршировали, а поверх ватника — узенький такой ремешок. Жара, пот льет, а они в ватниках. Почему? И сегодня не пойму — почему? И одеты кто во что, и оружие самое разное, самодельное. Пушка на колесах от сеялки... Зенитка, собранная на колесе от телеги. Освободители наши. Вот кто нас освобождал… Это нам только, глупеньким, когда наряжались, казалось, что на нас партизаны, хлопцы молодые, глядеть будут. А им не до нас было. Как теперь помню их лица — усталые, обветренные, измученные, недоспавшие... Им не до женитьбы было, им отоспаться бы, как я теперь понимаю, хотелось. Однако не всем. Вижу я, один партизан, конник, очень внимательно смотрит на меня. Красивый такой мужчина, молодой. Хорошо выбритый. Только усы, как у Буденного, пшеничные торчат. А конь под ним буланый, горячий — не стоит на месте. А я все руками машу. Смотрел он на меня, смотрел, затем и говорит: «Чего ты, красавица, руками машешь — лошадь испугаешь». И не помню уже, что я на это ему ответила, — кажется, посоветовала, чтобы лошади глаза завязал, если

она у него такая пугливая. А здесь и приказ — трогаться. Он и поехал. Помню, какой-то мальчонка в большой-большой шапке уцепился за саблю и тормозит — землю ногами загребает. Тогда партизан подхватил малого на руки да так с ним и поехал... И еще вот помню, как над нами в небе вдруг появились самолеты. Тогда я не считала, сколько их было, и сейчас не знаю, но казалось мне, что летело их очень много...

Эти самолеты хорошо помнит и он. Они появились с той стороны, где еще гремела война, появились над парадом внезапно, неожиданно. Услышав их ровный и какой-то уж очень спокойный гул, все — и те, что стояли в колоннах, и те, что смотрели на партизан, — подняли вверх головы.

— Гляньте, первый полетел Володька!

Что здесь началось! Партизаны махали руками, кричали «ура!», подбрасывали вверх шапки, — даже лошади, испугавшись, шарахались в сторону. Эта радость и возбуждение передались на обочину, и люди, пришедшие посмотреть на партизанский парад, тоже закричали, стали махать над головой косынками — на обочине больше стояло женщин, а потому шапок взлетало маловато. Он тоже обрадовался самолетам, тоже подбросил вверх свою шапку. Обратно она не вернулась, ее подхватили другие, и снова подбросили, и подбрасывали до тех пор, пока она не смешалась с другими, пока он уже не мог разобраться, где она: подбрасывали сотни шапок, и среди них была его, но узнать, уследить за ней он уже не мог. Так и не нашел он потом свою шапку и уже до конца парада оставался без нее.

А в небе радовались, как дети, самолеты. Они развернулись, сделали еще один круг, еще один… Махали крыльями, снижались, — было видно, что там летели свои люди, понимающие, какая радость для белорусского народа вот этот парад.

...И вот случайная, неожиданная встреча в Ялте. В конце лета Радослав отдыхал там и, выбрав свобод-

ное время, пошел на ялтинское кладбище, где похоронен Максим Богданович. Могила была ухожена, и он только убрал упавшие на нее кипарисовые шишки, полил барвинок — этот неприхотливый густой коврик, зеленевший на могиле, — разогнулся и прислонился к ограде. И вдруг спиной ощутил, что на него кто-то смотрит. Радослав не заметил, как и когда тот подошел к нему, только услышал:

— Что, это тоже ваш партизан?

Он оглянулся. Неподалеку стоял худой, высокий и уже совсем седой человек.

— Почему вы так думаете?

— Потому что вы, белорусы, все партизаны.

Человек рассматривал надпись на могиле, и Радослав понял, почему тот догадался, что он белорус, — на сером камне было написано по-белорусски.

— Нет, это не партизан, а поэт. Но если бы он дожил до тех тяжелых дней, я не сомневаюсь, и он стал бы партизаном.

— А я, считайте, ваш партизан. Белорусский штаб партизанского движения меня медалью наградил. Давайте знакомиться. Меня зовут Владимир Николаевич. Живу в Иркутске. А здесь, на этом кладбище, мой боевой товарищ похоронен. Недалеко совсем, — Владимир Николаевич показал головой вверх, на гору. — А сам я боевой летчик. За войну шестьсот сорок восемь боевых вылетов сделал. Около пятисот из них — в ваш тыл, к партизанам, в ваши леса. Представляете, сколько раз я садился и взлетал с ваших партизанских аэродромов? И сколько раз линию фронта перелетал.

Владимир Николаевич поднял голову и посмотрел на кипарис, на верхушке которого, пригнув ее, сидела птичка, — ветра не было, было тихо, а она раскачивалась. Радославу же показалось, что человек смотрит не на верхушку, а на чистое, безоблачное небо, которое голубело над кладбищем. То там, то здесь его подпирали островерхие кипарисы — строгие, таинственные, какие-

то даже страшноватые, — и он подумал, что недаром, видимо, в Западной Европе это таинственное дерево садят только на кладбищах.

— И вот летим мы как-то на свою базу. Из-за линии фронта. Недалеко от Минска летим — Минск уже освобожден тогда был. Видим, в вашей столице какое-то оживление. Мы немного отошли от курса, над самым городом летим. А Минск разорен совсем — одни головешки да руины. Кажется, город даже еще дымился. А в нем такой праздник! Присмотрелись мы, а на каком-то пустыре — народу, народу! Видим, те, что собрались, нас приветствуют — шапки вверх бросают, руками машут, кричат что-то. Вот оно что — это же партизаны! Свои хлопцы! А они наши самолеты знали, даже по номерам узнавали. Ну, мы тогда развернулись, крыльями им помахали. Четыре круга над ними сделали. Прилетаем в Подмосковье, где наша база была, а командир полка — нам выговор за то, что изменили курс, что самовольничали. Но вмешался ваш штаб партизанского движения — мол, простите их, они ведь наших партизан знают и партизаны их, мол, летчики приветствовали наш праздник освобождения, партизанский парад, — и выговора нам отменили...

Летчик оперся спиной на кипарис, стоявший рядом с соседней оградой, и вздохнул:

— А у меня даже любимая девушка там, в ваших лесах, была. Разведчица. Там была, там и осталась. Прилетаю однажды, а мне ее могилку показывают… Мертвую с задания принесли в лес родной.

Радослав не перебивал Владимира Николаевича, внимательно слушал, стараясь запомнить каждое слово, и об одном только жалел, что здесь, на кладбище, нет у него с собой магнитофона.

И вот сегодня в полдень вдруг пронзительно зазвонил телефон, и, взяв в руку трубку, он услышал прокуренный, хрипловатый, словно простуженный голос, который и для него стал уже знакомым:

— Привет, партизан! Это я. Проездом здесь из Иркутска. Хотел бы тебя увидеть.

И хотя у Радослава совсем не было времени — завтра утром вылетал в Москву, а затем в Париж, — он обрадовался гостю и пригласил Владимира Николаевича домой: ему хотелось не только встретиться с ним и поговорить, но и записать его воспоминания на магнитофон.

Сейчас он ждал гостя и прослушивал то, что уже было записано.

Женщина тоже уже кончила говорить — он, задумавшись, не дослушал ее, — и магнитофон, пошипев на пустой ленте, нашел, наконец, какую-то томную песню, которую зарубежная певичка пела очень уж чувствительно.

Он снова подошел к столу, выключил песню, отмотал ленту назад и снова пустил воспоминания женщины. Радослав и теперь знал, что она скажет, знал и тогда, когда записывал...

— А куда же девался тот усатый партизан? На буланом коне? — его голосом спросил магнитофон.

— Как это куда? Вернулся. Проехал он с мальчонкой мимо трибуны — и снова сюда, ко мне. Стою это я и слышу: «Ну, а ты все руками машешь?» — «Машу», — отвечаю. «Садись, на лошади покатаю». — «Вот еще придумали, — отвечаю, — на лошади катать. Вот если бы на машине, то, может, и согласилась бы», — смеюсь. И как разговорились мы тогда с ним, так вот уже тридцать пять годков говорим. Поженились. А как он сожалел, что мое голубое платье быстро сносилось: оно же, известно, не новым ко мне попало. Тогда он сам нашел похожую материю, купил и заставил меня пошить такое же, как на параде было. А, что я вам рассказываю! Вы же вчера записывали. Это ведь тот самый усатый партизан, что на буланом коне ехал. Только к своим усам он еще и бороду отрастил. Вот так...

И в то же самое время, когда женщина сказала последнее слово — будто специально ждал, когда закончит, — в дверях раздался звонок. Подходя к двери, чтобы открыть Владимиру Николаевичу, Радослав подумал, что, видимо, надо теперь везде, где придется выступать за границей, рассказывать об этом партизанском параде, который, может, и не очень слаженным строем, в ватниках, в бурках, с разным, даже самодельным оружием — с пушкой на колесах от сеялки, с зениткой, собранной на колесе от телеги, — радостно прошел по освобожденной белорусской земле, по обугленному, но уже живому Минску.

Перевод Татьяны Мартыненко.

Владимир МАРУК

* * *

Мне звезда подмигнула устало.
Одиноко в том мире далеком?..
Одного одиночества мало,
Если хочется быть одиноким.

Одиноко…
И мне одиноко.
Только думы одна за одною
Наплывают изящным барокко,
Словно тайно играют со мною

В чехарду бесконечных секретов,
Неизведанным душу тревожа.
И никто в одиночестве этом
Не поможет.
Уже не поможет.

* * *

Как славно в рассветном тумане
Идти по забытой аллее,
Где ветви загадками манят,
А солнце —
смелее,
смелее.

Где все еще тихо,
как в мире,
Таком недоступном и близком,
Что снился мальчишке-задире
Сквозь солнца веселые брызги.

Хоть мысли закрутятся вихрем,
Но в сердце истома исчезнет.
Идешь, улыбаешься тихо
В душе.
А чему —
неизвестно.

* * *

Снова мы идем косить отаву.
Батя правит дедову косу,
Ляп да ляп —
старается на славу.
Луговую выкосим красу.

И взметнутся над рекою копны,
Что заманят вновь расти траву
Посреди стареющей Европы,
Где и я,
как человек, живу,

Где уснули над рекою предки,
Что услышат,
как и с кем кошу…
Давней той отавы запах крепкий
Вместе с ними я в себе ношу.

* * *

У выстылой осени столько в котомке заплечной:
Приблудные тени,
что исподволь память калечат,
Приблудные тучи,
что путь поливают слезами,
Чтоб искренность стала стеною высокой меж нами.
У выстылой осени все на виду,
как пред Богом.
Петляет по грязи меж путаных мыслей дорога,
Что к малой часовенке,
словно монах, устремится,
Чтоб там от грехов моих
верой своей отмолиться.

* * *

Докучали,
да как докучали
Две соседки,
двойняшки-сестры,
Необычной игрой на рояле,
Не в четыре руки —
в «полторы».

Я б сорвался,
да не было слуха:
Ни единой же ноты не знал,
Будто мне от рождения ухо
В самом деле
медведь оттоптал.

Может, это-то и заставляло
Слушать, слушать,
а после — бегом

Через темень ночного вокзала
В запустевший родительский дом.

Откопаю гармошку в сарае —
Что стыдиться:
свое, не украл…
Заиграю,
да как заиграю —
Боже мой!..
Никогда ж не играл.

* * *

Свечка в окне догорит,
Кто-то,
наверно,
не спит,
Глядя на стену,
как в небо,
Где ни звездинки во мгле…
Сядет за стол.
На столе
Соль да краюшечка хлеба.

* * *

Я не хочу новой жизни земной,
Стать,
хоть и близкой,
чужою душою,
Вновь оказаться заложником снов,
Снова не спать непогодной порою.

Я не хочу,
ибо в мире моем

Хватит без нас
суеты бестолковой.
Я не смогу в небреженьи чужом
Знать,
что живу за кого-то другого.

* * *

Ноктюрны и плавные вальсы
От бед уносили земных.
Плясали по клавишам пальцы,
Глядел не на Вас я, —
на них.

А после под ахи и вздохи
Просил ну хоть что-то сыграть
Из той музыкальной эпохи,
Что все не спешит умирать.

С надеждой прошу:
«А Шопена?..»
«А Листа?..» —
взываю без сил…
Но пальцы легли на колени,
Чтоб душу я зря не травил.

* * *

У поникших пионов стоим,
И пионы нам шепчут в поклоне,
Что заоблачной вечности дым
Скоро ляжет на наши ладони.
Так и хочется выцветший цвет
Хоть на миг приголубить руками:
И куда ни взгляни,
белый свет —
И пионы,
и небо,
и сами.

* * *

Зацветает и мой цикламен,
Заслоняя собою полсвета.
Повторяю,
как песни рефрен:
«Я так ждал настоящего цвета!»

Словно белой тетради листы,
Лепестки надо мною кружатся.
Я так ждал для души чистоты
От тебя.
От людей —
не дождаться.

* * *

Озяблой голубики стебельки,
Что век векуют рядышком со мною,
Чуть слышное касание руки
Почуют даже снежною зимою,

Когда ветра сугробы наметут,
Я подхвачусь на полуночный шорох
И буду знать, как вы живете тут,
До вас на миг дотронувшись душою.

* * *

Цветет сирень.
Загадочные тени
Моим очам покоя не дают.
И тонкий аромат
ее цветенья
Мои,
а не чужие губы пьют.

Вокруг весна.
Душистых гроздей вольность
Босой душой почувствовать хочу.
Я сквозь сирень,
как ветер своевольный,
Сперва пройду,
а после — пролечу.

* * *

Вы колдовали,
чаровали,
А после встали и ушли,
И я один остался в зале,
Один от неба до земли.

И запылала жарко рана
На тонком бархате души,
Живою музыкой органа
Ее огонь не потушить.

Вы колдовали,
чаровали,
Да не смогли зачаровать,
Как будто вы любви не знали —
И не хотели узнавать.

* * *

Вечер шалью серебристого тумана
Укрывает и затягивает в сон,
Как меня,
безлюдную поляну,
Где,
что видишь,
так и манит взор.

Воздух тих.
И даже птицы как-то глухо
Мне опять-таки поют
про тишину,
Словно что-то шепчут мне на ухо,
Что припомнить не смогу,
когда проснусь.

Сны, как призраки, плывут в тумане стылом
Смутными обрывками молитв,
Чтоб забыл о том, чего вернуть не в силах,
Только помнил,
что в душе еще болит.

Перевод Андрея Тявловского.

Анатолий СУЛЬЯНОВ

ПУШОК

Мороз крепчал. Пуржило. Порывистый пронзительный ветер поднимал и раскручивал не успевший слежаться сыпучий снег, больно хлестал лицо. Шагалов ощупью нашел обитую войлоком дверь, рывком толкнул ее и оказался в темном узком коридоре. Отыскал веник, смахнул снег с валенок и переступил порог лазарета.

В глаза ударил яркий свет. Шагалов зажмурился, выждал, снял ремень, расстегнул пуговицы длиннополой, с высоким меховым воротником шубы, встряхнул ее и повесил на вбитый в стену гвоздь. Негромко поздоровался с врачом Ниной Сергеевной и, повинуясь ее предупредительному жесту, вошел в ординаторскую.

Нина Сергеевна — невысокая молодая женщина с открытым неброским лицом и задумчивым грустным взглядом появилась в поселке во время осеннего экспедиционного «завоза». Тогда-то, во время выгрузки, капитан Шагалов впервые встретил Нину Сергеевну, помог перенести ее вещи с корабля на пирс.

Жила Нина Сергеевна одиноко, друзьями обзавестись не успела и часто после работы подолгу задерживалась в санитарной части. Взрослых больных

почти не было — народ подобрался закаленный — на Севере не по одному году, на здоровье не жаловался. Чаще болели дети, особенно те, кто родился и рос в северных широтах.

— Давно с точки? — шепотом спросила Нина Сергеевна.

— Утром. Дела решил и сразу к вам, — Шагалов застеснялся своих последних слов.

— Узнать о девочке пришел… Начштаба Сергейчук сказал, что из-за погоды отец ее, летчик, задерживается в командировке. По всему маршруту нелетная погода. Звено ЯКов сидит в Нижнем Тагиле. Как она?

— Плохи дела, Шагалов. Нет улучшения. Ждет отца. Я и сама не знаю, что делать. Лекарства не помогают. — Нина Сергеевна тяжело вздохнула, удрученно развела руками, подошла к печке-голландке и прижалась к ней ладонями.

Шагалов скользнул взглядом по опущенным плечам Нины Сергеевны, прядям волос на длинной, по-детски тонкой шее и мысленно пожалел ее. Ему хотелось поддержать ее, помочь чем-то, сказать о том, что грустил без нее, торопил время, но в самый последний момент оробел, почувствовал, что высказать все это не сможет. Нет нужных слов. И так все ясно. Нет без нее жизни. Начинается день — думы только о ней. Ночь наступает — видит перед собой ее глаза…

Неуклюже потоптался и тихо спросил:

— А с девочкой-то кто сейчас?

— Ольга Ивановна — ее мать. Бедняжка еле на ногах держится — вся извелась за эти пять дней.

— Я могу чем-то помочь? — робко предложил Шагалов.

— А чем вы можете помочь? — спросила Нина Сергеевна и кивнула на дверь. — Пойдемте, посмотрим…

Шагалов пропустил вперед Нину Сергеевну и вошел в палату.

На стерильно белой подушке виднелось пылающее нездоровым румянцем детское личико. Глаза девочки были закрыты: тонкие, бледные ручки неподвижно лежали поверх одеяла, густо алели потрескавшиеся, плотно сжатые губки.

— Здравствуйте, Ольга Ивановна, — прошептал Шагалов.

Женщина не ответила, но кивнула головой и продолжала смотреть на девочку. Какое-то время в палате установилась глубокая тишина, и только с улицы доносились тяжелые вздохи разбушевавшейся пурги.

Шагалов вдруг заметил, как вздрогнули темные реснички девочки — она открыла глаза и, не поднимая руки, поманила мать пальчиком.

— Папочка не прилетел? — едва слышно спросила девочка, взглянув на Шагалова.

— Нет еще, доченька. Погода плохая.

Взгляд девочки угас и стал безучастным, будто уголек, излучавший свет, остыл и потускнел.

— Из области попутным самолетом прислали, — шепнула она Шагалову, кивнув на шприц. — Ввожу самый сильный антибиотик…

На укол девочка отозвалась жалостливым стоном и отталкивающим движением рук, тут же ухватилась за пальцы матери и тихо произнесла:

— Ты не уходи, мамочка. Я буду за тебя держаться — мне так легче…

Вскоре ребенок уснул, и все трое вышли из палаты.

В кабинете врача Ольга Ивановна сквозь слезы спросила:

— Как же это, Нина Сергеевна? Столько дней температура держится…

Нина Сергеевна не ответила и продолжала беспокойно ходить по комнате. Ее долгое молчание вызвало у Ольги Ивановны желание высказать врачу все, что накипело на сердце за время болезни дочери. «Не можете вылечить ребенка! — хотелось крикнуть ей. — Три дня держится высокая температура. Девочка бредит!..» Она почувствовала, как тишина в комнате стала невыносимой и давит на нее со всех сторон.

Нина Сергеевна вскинула чуткие, умные глаза и остановилась напротив Ольги Ивановны.

— Ваша Танечка — северянка. Солнца здесь мало, витаминов тоже. Это не могло не сказаться. Мы применили самые современные лекарства, сделали все, что необходимо. Температура была за сорок — сбили до тридцати восьми.

— Но Танечка на глазах тает… Последние дни у нее во рту маковой росинки не было!

— Я не знаю, что еще предпринять. Очень сложный диагноз. Подозрение на воспаление легких отпадает… Что делать?

Нина Сергеевна видела страдальческое лицо Ольги Ивановны, ее полные отчаяния глаза, прижатые к груди руки, слышала ее всхлипывания.

— Сделано все возможное, — продолжала Нина Сергеевна, — но у ребенка недостает жизненных сил, чтобы бороться с болезнью. Необходимо внутреннее сопротивление болезни. Если этого не будет, может начаться кризис. — Она отошла в угол и задумалась. «Что делать? Как объяснить матери, что лекарства сделали свое дело, теперь остановка за человеком»…

— Нина Сергеевна, милая! — Ольга Ивановна уткнулась лицом в грудь врача. — Делайте все, что можно… Умоляю вас — спасите Танечку! Если надо — возьмите мою

кровь! — Она протянула руку. — Вы здесь единственная, кто может спасти Танечку. Господи, ведь она так ослабла, что головку перестала поворачивать. Одни глазоньки только двигаются. Прошу вас, заклинаю — помогите…

Нина Сергеевна взяла руки Ольги Ивановны и, глядя ей в глаза, тихо сказала:

— Милая Ольга Ивановна, я перечитала справочники, консультировалась по телефону с областью, да и у самой опыта немало. Не отхожу ведь от Танечки…

Ольга Ивановна не ответила, тяжело опустилась на стул и закрыла лицо руками. Она не осознавала, что в постигшем ее горе прямой вины нет ничьей, но обида и боль терзали ее сердце, и она не подавляла эту обиду, возлагая всю вину на медицину, на врачей, а значит, и на Нину Сергеевну. Ею двигал страх за дочь, и этот страх искал выхода. Подавленная горем и теряя надежду на всесильность лекарств, в угнетенном состоянии она долго и отрешенно смотрела в черный проем окна. Пока не впала в прострацию, избавившую ее от липкого страха. Будто приподняло ее от земли поверх снежной закрути и понесло, понесло над каменными сопками, пугая ее страшной высотой, грозя разбить на острых отвесных скалах. Боясь упасть, Ольга Ивановна руками хваталась за что-то, мысленно цеплялась за проносившиеся пряди перемешанных со снегом облаков, истошно звала на помощь мужа…

Очнулась от прикосновения Нины Сергеевны:

— Танечка проснулась.

Ольга Ивановна быстро поднялась, выбежала из комнаты и тихо вошла в палату. Вслед за ней вошли Шагалов и Нина Сергеевна.

— Мамочка, — едва слышно прошептала девочка, — дай ручку… — Она положила ручонку на материнскую ладонь и отрешенно уставилась взглядом в потолок.

— Танечка, а какая у тебя любимая игрушка? — спросила вдруг Нина Сергеевна и наклонилась над кроваткой.

Глаза у девочки приоткрылись, ожили.

— Собачка… Пушок… Мне его папочка подарил…

По едва заметным движениям губ ребенка и улыбке Нина Сергеевна мгновенно уловила интерес к игрушке.

— Ты любишь Пушка? — спросила Нина Сергеевна.

— Люблю, — пролепетала девочка. — Мамочка! Дай, дай мне Пушка. Хочу Пушка!

Нина Сергеевна не сводила глаз с девочки. Она видела, как вспыхнувший минуту назад огонек в глазах больной стал ярче, будто взгляд ее подсвечивался изнутри каким-то скрытым, идущим из глубины светом. «А если это то, чего недостает сейчас ребенку? Может, именно игрушка придаст сил девочке?» — подумала Нина Сергеевна. Радостью засветилось лицо.

Постепенно Нина Сергеевна мысленно утвердилась в силе игрушки. Она вспомнила советы руководителя ординатуры, где она училась. Врач лечит не только лекарством…

— Вот что… Девочке нужен Пушок, — произнесла Нина Сергеевна. — Очень он ей нужен!

— А где она, эта игрушка? — участливо спросил Шагалов.

— Дома! В гарнизоне, — безнадежно отозвалась Ольга Ивановна. — Да кто за ней в такую погоду поедет? Ведь далеко…

Шагалов взглянул на девочку. Жалость сжала его сердце, и неожиданно для себя он решительно произнес:

— Я поеду! Какой ваш дом?

— Первый от здания радиостанции. — Ольга Ивановна поднялась, вскинула полные слез глаза на Шагалова,

растерянно пошарила ладонями по карманам кофты, кинулась в коридор и тут же вернулась с ключами в руке. — Вот ключи… Спасибо вам! Пушок этот лежит на диване…

Шагалов вошел в кабинет врача и снял трубку телефона.

— Прошу Сергейчука! — В трубке затрещало. Шагалов торопливо рассказал начальнику штаба Сергейчуку о критическом состоянии девочки и совете врача.

— Ну ты даешь, Шагалов! — удивился Сергейчук. — Погода ни к черту! Пурга надвигается! У меня осталась одна «гэтээска», больше тягачей нет, а ты за какой-то игрушкой хочешь ехать. А вдруг что-то на других точках случится? Не проси — не могу. Игрушку и здесь, в поселке, можно найти.

— Понимаете, ей нужен именно Пушок — подарок отца, ее любимая игрушка, в этом-то и дело. Я съезжу… А вдруг помогу!

— Не уговаривай, Шагалов. Не могу разрешить. Погода — сам видишь какая…

— Час туда, час обратно. Обещаю, через два часа буду на месте!

— Прогноз знаешь? Сейчас ветер до десяти метров в секунду, температура минус двадцать семь. Метель. А через полтора-два часа ветер усилится. Пурга! Жду второго и даже третьего варианта погоды. Так-то вот, Шагалов. Не обижайся — не могу! Мало нам прошлогодних обморожений! Или ты забыл? А мне взыскание на всю катушку влепили.

* * *

— Ну что, разрешили? — спросила с порога Нина Сергеевна, как только он опустил трубку на аппарат.

— Нет, второй вариант погоды на подходе.

— Что это значит? — обеспокоено спросила Нина Сергеевна.

— При первом варианте погоды запрещено выезжать из поселка, а при третьем — нельзя даже выходить из домов. — Он поднялся, потер виски, снял трубку телефона и спросил дежурного метеоролога о прогнозе погоды на ближайшие два часа. Слушал внимательно, напрягая слух и плотнее прижимая трубку.

— Когда ожидается прохождение циклона? — Он задал этот вопрос в надежде на то, что еще до пурги успеет добраться до гарнизона и вернуться обратно. — Плохо. Я не вам, извините. Я о погоде! Спасибо. — И, уже обращаясь к Нине Сергеевне, сказал: — Два часа в нашем распоряжении. А впрочем, — Шагалов сокрушенно махнул рукой, — Сергейчук не разрешил ехать.

— Может, мне переговорить? — предложила Нина Сергеевна. — Попробуйте, но он тверд как скала.

Нина Сергеевна позвонила Сергейчуку и рассказала о больной девочке.

— Ребенку крайне нужна ее любимая игрушка! Нужно отвлечь ее. Игрушка может оказаться важнее и сильнее лекарства. Возможно, Пушок прибавит девочке сил…

Ответа Сергейчука Шагалов не расслышал, но когда Нина Сергеевна торопливо передала ему трубку, прочел в ее глазах: «Разрешил»…

Он выслушал наставления сердитого, вконец измотанного непогодой и техникой Сергейчука, выскочил в коридор, сдернул с гвоздя шубу, оделся, скрепил ее ремнем, насунул на голову мохнатую шапку — «полярный вариант», по-мальчишечьи озорно кивнул Нине Сергеевне, открыл дверь и выскочил на улицу.

Небо пучилось тяжелыми, набухшими, темными облаками, словно со всех сторон его сжимала неведомая, чудовищная сила, ветер тяжелыми волнами бил о стены здания.

В кабине гусеничного вездехода вспомнил разговор с Сергейчуком: «Даю тебе лучшего водителя — сержанта Михаила Пряхина. Ему ничего подсказывать не надо — сам дорогу на аэродром знает хорошо».

Пряхина уважали за спокойный и добродушный характер и любовь к технике. Тягач знал до последнего болтика, следил за машиной, мог по бездорожью проехать до самой отдаленной точки.

— Ну, брат Пряхин, выручай — ребенок тяжело болен!

Шагалов не стал рассказывать водителю о том, что едет за игрушкой, а больше говорил о болезни девочки. Не заметил, как начал хвалить Нину Сергеевну…

— Хорошая докторша, красивая, — согласился Пряхин. — Недавно руки обжег — мотор подогревал. Кожа вздулась волдырями! Она смазала чем-то, и все быстро зажило.

Шагалову было приятно слушать о Нине Сергеевне, и он мысленно представил ее ласковые с печатью грусти глаза, копну уложенных на затылке волос, лицо, похожее на лицо пушкинской Анны Керн.

Пряхин вел тягач ровно, без рывков, строго придерживался высоких вех, установленных при выезде из городка по обеим сторонам слабо укатанной дороги. Лучи фар выхватывали из темноты огромные снежные заносы на спусках и распадках, возле крутого обрывистого яра.

Крупные хлопья снега застилали ветровое стекло, мешали видеть дорогу. Пряхин расстегнул полушубок, наклонился вперед и начал озабоченно всматриваться в темноту.

— Пять километров проехали. Еще семь, — озабоченно проговорил он, кивая в сторону высокого шеста. — Последняя веха — теперь смотри да смотри, — то ли себе, то ли Шагалову посоветовал Пряхин, все больше высовываясь из кабины и вытягивая шею из полушубка.

Шагалов промолчал, но приоткрыл дверцу, подался вперед и тоже стал следить за дорогой, изредка бросая взгляд на Пряхина.

Не заметил, как в свете фар появились высокие антенны радиостанций и локаторов. Шагалов обрадованно, по-дружески, толкнул водителя в плечо:

— Ну, добежали, браток! Домчались!

Тягач остановился. Шагалов выскочил из кабины, вошел в засыпанный до окон снегом дом и тут же вернулся со свертком в руках.

— Теперь давай обратно, Миша, — бодро проговорил он. — Ветер усилился — нам надо упредить пургу. — Он окинул взглядом освещенные уличным прожектором дома и закрыл дверцу тягача.

— Убежим от пурги, — деловито ответил водитель. — Лишь бы ветер не сменил направления. Подует сбоку — конец дороге. Быстро заносит. В прошлом году двое суток искали «гэтээску». Нашли далеко в стороне, у самого моря.

— В такой кутерьме заблудиться нетрудно. — Шагалов жестом показал в сторону ветрового стекла, за которым проносились плотные снежные вихри, и впервые подумал о возможной опасности, но тут же мысли о больной девочке вытеснили все остальное, и он ни о чем другом не думал, как о том, чтобы быстрее добраться до поселка.

Снег валил так густо, что механические дворники не успевали очищать ветровое стекло, и вскоре оно по-

крылось ледяной коркой. Дворники судорожно подергивались из стороны в сторону. Через минуту, прочертив на стекле полосы, они и вовсе замерли.

Снежные струи молочным ручьем лились по стеклу, словно пытаясь отгородить Шагалова и Пряхина от едва видимой дороги, заметали следы гусениц, оставленных тягачом, остервенело хлестали по кузову, даже врывались в кабину, отчего на полу вырастали бугорки снега.

Шагалов заметил на пухлом, раскрасневшемся лице Пряхина растерянность. Водитель то беспокойно рыскал взглядом, то встревоженно всматривался в темноту, то наклонял голову к стеклу.

— Дорогу-то видишь?

— Что-то не просматривается, — голос звучал тревожно и обеспокоенно.

Пряхин остановил тягач, не спеша застегнул полушубок, поднял воротник, взял лопату и осторожно, словно перед ним была глубокая пропасть, спустился в темноту. Валы колючего снега слепили, больно секли щеки, холодными волнами окатывали с ног до головы. Пряхин прикрыл лицо рукой, глубже, по самые брови надвинул ушанку и, широко расставляя ноги, согнувшись, принялся отыскивать следы гусениц.

Он натыкался на огромные сугробы, падал, поднимался, преодолевая бешеное сопротивление взбесившихся вихрей. Останавливался лишь для того, чтобы услышать шум работающего двигателя и отдышаться, осторожно снимал наледь с бровей и ресниц, оттирал прихваченные морозом щеки и в который раз принимался искать затерявшуюся в снежной пустыне дорогу. Отчаявшись, Пряхин опустился на колени и принялся разгребать снег лопатой в стороне от тягача, где, по его предположению, находилась дорога. Пряхин изредка затихал, прислушивался

к шуму работающего мотора и, убедившись в том, что не заблудился, продолжал разгребать рыхлый снег. Силы медленно убывали, подкашивались от усталости ноги, он тяжело дышал сквозь изморозь, охватившую губы, нос, концы клапанов шапки и поднятого воротника полушубка, подолгу шарил в темноте, стараясь нащупать следы от гусениц. Наконец, уже обессиленный, наткнулся на следы гусениц. Он тяжело поднялся и, опираясь на лопату, побрел к тягачу. Долго не мог открыть дверцу. Шагалов заметил его, сильным толчком ноги открыл кабину и втащил водителя на сиденье.

— Рядом дорога — влево сползли, — прохрипел Пряхин, выжимая сцепление. — Теперь доедем, товарищ капитан!

— Доехать-то доедем, только вот когда… Нас с тобой, Миша, Танечка ждет. — Шагалов представил себе личико девочки. Оно, казалось ему, спрашивало: «Вы скоро приедете?»

Тягач шел ровно. Шагалов на какое-то время забылся, разглядывая высвеченную лучами фар тягача снежную коловерть.

Случайно взглянул в боковое стекло и забеспокоился — ветер сменил направление и дул с севера-востока.

«Теперь не утихнет — с этого угла обычно пурга долго буйствует. Второй вариант вот-вот объявят. Сергейчук, наверное, тревожится. Пурга ужаснейшая!» Шагалов почувствовал торможение. Тягач задрожал, пробуксовывая гусеницей в снегу и остановился. Ход мыслей резко оборвался.

— Что случилось? — спросил у водителя.

— Дорога пропала. Видать, опять сошли с нее, — развел руками Пряхин и принялся застегивать пуговицы полушубка.

— Сиди. Ты устал. Я сам посмотрю, — строго сказал Шагалов, открыл дверцу и вышел из кабины.

В лицо ударил колючий ветер. Шагалов непроизвольно сощурил глаза, поднял воротник шубы и отвернулся, закрываясь от ветра. Вокруг стояла густая мгла полярной ночи, и только лучи фар, словно огромные мечи, рассекали темноту.

Шагалова охватило чувство бессилия перед разбушевавшейся стихией. Он не думал о времени и о том, что надо спешить. Все его сознание теперь было заполнено пургой и ускользнувшей дорогой.

«Может, и не надо было рисковать? — спросил себя Шагалов. — Теперь вот ищи…»

Прикрывая лицо воротником и наклонившись против ветра, он с трудом сделал несколько шагов в сторону в надежде найти следы гусениц, но, кроме взлохмаченной поземки да беспорядочных нагромождений снега, ничего не увидел.

До него донесся голос звавшего его Пряхина. Он вернулся к вездеходу, с трудом открыл дверцу и громко спросил:

— Звал?

— Так точно! Без фала ходить нельзя — мало ли что может быть. — Пряхин вывалился из кабины, раскрыл кузов и вынул моток капроновой веревки. — Я всегда его вожу с собой. Не раз выручал.

Он не спеша обвязал фал вокруг пояса Шагалова, застегнул карабин за приваренное к борту тягача кольцо, по-хозяйски осмотрел снаряжение и скрылся в кабине.

Мотор работал на малых оборотах, корпус вездехода подрагивал мелкой, едва ощутимой дрожью, вызывая у Шагалова чувство озноба. Продержимся в случае чего до утра. А дальше?.. Рассвета не будет — полярная ночь.

Он посмотрел на проносившиеся мимо снежные лохмотья поземки, вдохнул и вытер лицо. «В какую сторону двигаться?» — с горечью подумал Шагалов, обводя взглядом ревущую темноту. Со стороны моря доносились протяжные, похожие на рев чудовищ завывания и пронзительный, разбойничий свист. Он постоял возле тягача, долго всматривался в темноту, подергал фал, согнулся до пояса и двинулся в пучину густой снежной хмари.

Ураганный ветер валил с ног, пригоршнями сыпал в лицо колючий снег, больно жалил глаза. Отыскивая следы гусениц, Шагалов долго петлял, падал, поднимался и снова шел. «Дорога потеряна, — с тревогой подумал Шагалов. — Теперь надежда только на компас». Он остановился, бережно вынул коробочку, определил по светящейся стрелке направление и двинулся вперед. Шел медленно, до рези в глазах всматривался в снежную мглу. Часто останавливался, нагибался, сверял по компасу направление и шел дальше, прислушиваясь к шуму вплотную подступившего к нему вездехода. Сначала оглядывался, боясь ненароком упасть под гусеницы, но постепенно эта боязнь исчезла вместе с остатками сил, и он перестал обращать внимание на шумприближающейся «гэтээски». Шагалов стал считать шаги, заставляя себя пройти сначала двести, потом пятьсот, потом еще триста. Когда кончилась последняя сотня, остановился, чтобы отдышаться, покачиваясь от усталости из стороны в сторону.

Новый порыв ураганного ветра едва не сбил с ног. Он схватился за натянутый фал и повис на нем, удерживаясь от падения. Фал, словно пуповина, связывал его с тягачом, и он крепко держался за капроновую веревку, ни на секунду не расслабляя обмороженных рук.

Холод все больше сковывал его. Хотелось присесть, согреться, на минуту смежить глаза и вытянуть заде-

ревеневшие ноги. «Нельзя расслабляться, никак нельзя, — приказал он себе. — Погибнем… А нас ждут. Нина Сергеевна ждет. — Он отчетливо увидел ее милое лицо. — Надо двигаться!» Он распрямился сколько мог, перевел дух, отодрал от лица ледяную коросту, облизал с губ снег и двинулся в ледяную темноту. Ноги почти не повиновались, и он едва переставлял их, делая шаги короткими, на длину стопы, не больше.

* * *

К Северу он привык быстро. Не раз судьба испытывала его, оставляя один на один со стихией, сорокаградусными морозами и ураганными ветрами. После каждого случая давал себе обещание больше не рисковать, но проходили дни, и суровая обстановка требовала от него нового риска, и он снова шел на испытания, забывая о пережитом. Он не относил себя к тем, кто готов в любую минуту безрассудно кинуться в схватку с разбушевавшейся стихией, но когда это становилось необходимостью, шел на риск без долгого раздумья, руководствуясь прежде всего интересами дела. Сегодня он не мог не рисковать…

Долго топтался возле продолговатого снежного бархана, близоруко всматривался смерзшимися глазами в циферблат компаса, дождался успокоения стрелки, определил направление и снова двинулся на север, едва передвигая задубевшими ногами. Силы медленно покидали его. Ноги, закованные в кандалы, потяжелели. Он едва поднимал их, не отрывая подошв от неровностей снега, дышал часто, широко открывая распухшие от холода губы. С трудом преодолел вершину снежной заструги, остановился, перехватил остылым

ртом воздух, медленно двинулся и, не пройдя нескольких шагов, почувствовал, как сорвался и заскользил вниз по откосу. Фал натянулся, узел на поясе не выдержал, и конец фала выскользнул из рук. Проваливаясь в сыпучий, шуршащий снег, зло чертыхнулся и успел подумать: «Неужели вышли на берег? Тогда конец…» Тревога сдавила сердце…

* * *

Немногие жители знали, что в это время на остров обрушился мощный циклон. Один за другим, подобно гигантским цунами, накатывались шквалы, ломая на своем пути антенны, заваливая снегом здания и дороги. Сергейчук передал о переходе на вариант номер три и приказал всем оставаться на своих местах. Теперь ни в городке, ни на точках никто не имел права выйти на улицу.

Позвонил в санчасть.

— Как дела у девочки? — спросил врача.

— Ждет игрушку, — ответила Нина Сергеевна. — Думаю, это ожидание придало ей силы. А как, — она хотела спросить о Шагалове, но сдержалась, — как ваши дела?

— У нас плохие вести — «гэтээска» по времени должна была прибыть час назад. Включили прожекторы — ничего нет. Пробовали ее «пощупать» локатором — антенна из-за сильного ветра не вращается. Будем ждать — экипаж надежный. Теперь все зависит от них.

— А если машину послать им навстречу? — робко предложила Нина Сергеевна.

— Не имеем права — третий вариант погоды. Все остаются на своих местах. Таков закон Севера, — отве-

тил Сергейчук твердым голосом и услышал в трубке тяжелый вздох врача.

Нина Сергеевна встала и принялась ходить по комнате. Она ощутила на себе встревоженный взгляд. «Лицо измучено, взгляд растерянный и неподвижный, — подумала она об Ольге Ивановне. — Сердцем опасность почувствовала. Да и какая мать не почувствует тревоги, когда ребенок болен. За тысячи километров матери болезни своих детей чувствуют. К сожалению, не все. Есть такие, которым дети свои в тягость… Надо отвлечь ее. Может, рассказать о том случае из студенческой практики, когда стажировались в детприемнике?»

— Однажды, — начала рассказывать Нина Сергеевна, — я увидела, как молодая женщина очень пристально вглядывалась в детей, — она по-видимому, пришла, чтобы удочерить ребенка. К ней подошла девочка лет четырех-пяти, поправила очки с лопнувшим посредине стеклом, взяла руку женщины и попросила:

— Возьмите меня — я буду вас называть мамой. Буду любить вас. Я очень хочу маму. Наташка красивая, и ей сразу нашли маму. А я некрасивая, но я буду очень послушной. Возьмите меня, мамочка…

Женщина присела возле девочки, взяла за руки, долго рассматривала ее. Затем резко поднялась и принялась ходить по залу, бросая короткие взгляды на стоящих рядом детей. Девочка неотступно следовала за ней, повторяя одно и то же: «Мамочка, возьмите меня… Мамочка, возьмите меня…»

— Мне до сих пор, — проговорила Нина Сергеевна, — слышится тоненький голосок той девочки. — Она накинула на плечи шарф, подошла к голландке, приложила ладони к печке, и обе женщины долго стояли молча, думая каждая о своем.

Потом Нина Сергеевна продолжила:

— Верите, Ольга Ивановна, я не выдержала, расплакалась и убежала домой. Каменное сердце надо иметь отцу и матери, чтобы своего ребенка отдать в приют. Собака и та своих щенят бережет. А тут такая крохотуля и — без матери. — Она зябко передернула плечами, поправила шарф и снова подумала о Шагалове.

* * *

…Очутившись по грудь в снегу, в темной глубокой яме, капитан Шагалов опешил, растерянно осмотрелся. У него непроизвольно вырвался возглас отчаяния. Яма дохнула на него ледяным холодом темноты, страшным одиночеством и внезапной тишиной — сюда почти не доносился вой пурги. Он долго шарил по сторонам, натыкался на острые выступы, освобождался от сыпавшейся сверху снежной крупы, все больше убеждаясь в безысходности своего положения, отчего возле сердца ежом зашевелился испуг. «Как же так? — упрекнул себя Шагалов. — Неужели компас подвел? Что делать?»

Какое-то время не двигался, стараясь услышать шум мотора «гэтээски», но ничего, кроме отдаленного гула стихии, ни различал. «Видно, Пряхин не заметил», — обреченно подумал Шагалов. Фал волочится, а водитель не догадался открыть дверцу. Засыплет снегом. До лета никто не найдет. Да разве найдешь — иголку в стоге сена легче отыскать. Плохи дела. И так плохи, что хуже и некуда…

Щемящая боль безнадежности ужом поползла по груди, сдавила дыхание, будто на тело накинули холодный обруч. Ноги не держали. Он бессильно опустился на снег, закрыл глаза. Задубевшее от холода лицо его

обмякло, голова тяжелой гирей упала на грудь, тело после многочасового напряжения расслабилось, потеряло упругость, прерывистое и частое дыхание улеглось, утихло, и вместе с ним унялось и сердце. Его охватило тупое равнодушие; он не ощущал происходящего, не слышал висевшего в воздухе гула, не чувствовал холода. Стылость лишила его сил, отняла последнее тепло.

Долго сидел с закрытыми глазами, плотно смежив веки, не делая попыток что-либо предпринять. Да и что оставалось делать? Никто ни голоса не услышит, ни руки не подаст в этой глухомани.

Холод подступал со всех сторон. Все, что согревало и уберегало от холода, осталось там, у дороги, и теперь остывающее тело содрогалось мелкой дрожью. Он попытался унять дрожь, но тело не повиновалось ему, озноб проникал глубже, охватывая его. Он мучительно казнил себя за ошибки — узел слабо завязал на поясе, Пряхина не предупредил, чтобы тот смотрел за фалом, за то, что сбился и ушел в сторону. Найдет ли сержант Пряхин дорогу? Будет кружить, потеряется в кромешном снежном кружеве. Сидел бы в кабине, пока пурга не утихнет. Вспомнил и упрямство майора Сергейчука — тот не хотел выпускать «гэтээску», опасность чувствовал.

О себе не думал — все мысли сходились в одну точку, к Пряхину, о нем беспокоился не переставая, неотступно мысленно прослеживал его путь, доведя конец маршрута до лазарета. Когда о лазарете подумал, перед глазами Нина Сергеевна и больная девочка появились, да так отчетливо, что Шагалов от неожиданности вздрогнул, будто наяву они тут, в этой снежной яме. Он словно очнулся, мотнул головой, попытался открыть глаза. Брови и ресницы смерзлись, покрылись наледью…

Он долго дышал на негнущиеся пальцы, пытаясь отогреть руки. Царапая лицо содрал сосульки, едва разжал смерзшиеся веки. Вокруг была непроглядная темнота, отовсюду сыпалась снежная крупа. «Нет, нет! Надо бороться со стихией! Нас ждут!» — решил Шагалов.

Поднялся с трудом, подошел к снежной осыпи стены и хотел ухватиться за торчавшие из-под снега острые выступы, но руки заскользили вниз. Обламывая и кровавя ногти, долго сдирал наледь, счищал снег. Для опоры выдолбил лазы, зацепился носками валенок, несколько раз подтягивался на руках до закрайка, но в самый последний момент срывался и падал в снежное крошево. Поднимался на колени, тяжело и натужно дышал, хватая пересохшим захолоделым ртом вымороженный воздух, разгибая спину и, опираясь на неровности стены, становился во весь рост. Кидал в открытый рот пригоршню снега, с хрустом разжевывал и, облизывая лопнувшие на морозе губы, судорожно глотал пахнущую потом влагу.

Перед последним прыжком копил силы, поглядывал наверх, примеривался, чтобы не сорваться. Все еще надеялся на удачу, и в этом его естественном желании подстегивало обстоятельство, ради которого он и пошел на этот риск. Он должен быть у постели больной девочки! Шагалов снова оперся ногами, ухватился за выступы, рванулся вверх и тут же почувствовал, как пальцы рук, царапая наледь, скользнули вниз, и он, потеряв равновесие, обессиленно рухнул на дно ямы…

Сколько лежал в пуховой снежной перине, не помнил, только ощутил, как постепенно невесть откуда взявшееся тепло разлилось по всему телу, растопив холод. Он не чувствовал ни обмороженных рук, ни негнущихся ног. Сладкая истома охватила его, и ему казалось, что он лежит в теплой постели, в жарко натопленной избе.

* * *

Пряхин заметил исчезновение Шагалова. Выскочил из кабины, метнулся в светлый ручей фар, огляделся, обежал вокруг засыпанного снегом тягача и наткнулся на свободно свисающий с кузова фал. Он потянул его на себя и почувствовал слабину — фал никто не удерживал. Испуганно, словно это была огромная змея, бросил фал и отпрянул к кабине. Оглядевшись, понял, что рядом никого нет. Какое-то время Пряхин, словно пораженный током, стоял не шевелясь, испуг охватил его, и он истошным голосом стал звать Шагалова. Пурга гасила его слова, а он, надрываясь от собственного крика, старался быстрее обнаружить себя и тем самым спасти Шагалова. Пряхин отчетливо осознавал всю ответственность за жизнь товарища и что только он один может помочь Шагалову в этой бесконечной темной кутерьме, перемешанной метелью и ураганным ветром.

Этот опытный, смелый человек не мог уйти далеко. Шагалов знает суровые законы Севера. Сам же говорил о тех, кто сбивался с пути и погибал. Он где-то рядом. Он не мог заблудиться. Не мог. Черт бы побрал эту проклятую ужасную погоду!

Подсвеченный блеклым светом фар, Пряхин долго стоял на одном месте, не зная в каком направлении и где искать внезапно исчезнувшего Шагалова… «Почему же я раньше не заметил? — упрекал себя Пряхин. — Не следил за фалом, не окликнул Шагалова».

Почувствовал, что долго стоять не сможет — ветер валит с ног. Огляделся и пошел, поминутно наклоняясь, чтобы не пропустить отметин валенок Шагалова.

Всматриваясь в снежное крошево, увидел небольшое углубление на верхней части откоса, будто кто-то

срыл часть снежного бруствера. Пряхин подошел ближе — углубление уходило вниз, в темноту провала.

Он опустился на закраинок, вытянул шею, наклонился и принялся шарить взглядом по обрывистому склону.

Снег переворошен, ссыпан с боковых круч вниз, на дно глубокой, чернеющей пустой ямы. Похоже, не пурга виновата в этом хаотическом смешении свежего и залежалого снега.

Пряхин с радостью заметил на одном выступе похожий на рукавицу предмет и попытался, держась за фал, дотянуться до него, но не смог. Он опустил фал в яму — конец веревки дна не достал. Подхватился, побежал к тягачу, подвел «гэтээску» к яме, сбросил фал вниз и, держась за него, начал спускаться. Ноги скользили по обледенелым бокам, руки едва удерживали фал, сверху, застилая глаза, сыпался колючий снег. Наконец он достал ногой дно, ступил на снег и тут же почувствовал под ногами что-то мягкое. «Человек, — испуганно подумал Пряхин и, отступив в угол, принялся руками разгребать снег. — Неужели замерз?» Он добрался до лица Шагалова и принялся трясти его голову. Шагалов открыл глаза, непонимающе огляделся по сторонам, зевнул и, удивленно посмотрев на Пряхина, едва слышно спросил:

— Где мы?

— Поднимайтесь быстрее! — Пряхин помог ему встать, стряхнул с него снег и показал на свисающий фал.

Шагалов медленно обвел глазами бока ямы, все еще не осознавая случившегося.

— Выбирайтесь наверх! — командовал Пряхин, протягивая Шагалову фал. — Держите!

Тот попытался ухватиться за веревку, но пальцы не сгибались.

— Обморозил, — удрученно произнес он, согревая руки своим дыханием. — Помоги, Миша. — Он поставил ногу на каменный выступ, на подставленное плечо сержанта, намотал на руку фал и, едва удерживаясь, из последних сил потянулся вверх, перехватил фал, уцепился скрюченной рукой за боковую кромку, перевалился за брустверг и, тяжело дыша, отполз в сторону.

Дождался Пряхина, с трудом поднялся и, поддерживаемый им, едва переставляя ноги поплелся к тягачу.

В кабине было сравнительно тепло. Шагалов откинулся на спинку сиденья и устало закрыл глаза.

— Теперь, Миша, отдохнем чуток. Спасибо тебе, браток. Долго же я пурхался в этой яме. Если б не ты… Спасибо… — Он обнял водителя за плечи и прижался распухшим от холода лицом к его щеке.

— Да что вы, не надо. Я же сам виноват. Не заметил…

— Никто из нас, Миша, не виноват ни в чем, — прервал его Шагалов. — Погода — она, окаянная, виновата во всем.

Долго сидели молча. Оба так устали, что не хотелось даже говорить. Когда Шагалов заметил, что водителя потянуло в сон, он принялся застегивать шубу.

— Отдохнули — и в путь. У тебя все готово? С бензином как?

— Есть еще.

Пряхин увидел, что Шагалов готовится выходить из кабины, запротестовал.

— Сидите. Куда вы, товарищ капитан?

— Дорогу видишь? Нет. Пойдем, сержант, по компасу.

— Можно и в кабине компасом пользоваться.

— В том-то и дело, что нельзя. В кабине собственное магнитное поле.

Отдышавшись, Шагалов с трудом вышел, надвинул поглубже шапку и, преодолевая ветер, двинулся на северо-восток — там, по его представлению находился городок. Далеко в сторону уклониться не могли. Может, ошибка и есть, но небольшая. Надо держаться одного направления. Хватило бы горючего.

Сзади громыхал гусеницами тягач. Шагалов прислушивался к ровному тарахтению двигателя, изредка останавливался, сверяя направление по компасу, и снова, согнувшись до пояса, упорно продвигался по исполосованной метелью снежной целине. Только бы не сдал двигатель, — забеспокоился Шагалов, прислушиваясь к выхлопам мотора. Рации иногда капризничают, особенно в мокрядь, локаторы изредка отказывают. А тягачи надежны. Круглый год на них по тундре да по сопкам… Крепко сделаны, не отказывают.

Сколько шел — не помнил. Из темноты надвинулось небольшое, исполосованное снежными вихрями взгорье, преодолеть которое Шагалов сразу не мог. Остановился, окинул помутневшим от холода и усталости взором крутость, проверил по компасу направление. Не сбился — шел точно. Городок на этом меридиане. Еще шагать и шагать.

Отдышавшись, посмотрел на тягач и небольшими шажками двинулся по крутости вверх; ноги соскальзывали, передвигался по-медвежьи, карабкался, когда оказался перед вершиной. Порыв ветра сбил с ног, падая, успел зацепиться за неровности в наледи. Долго лежал не шевелясь, борьба с ветром выцедила из него последние остатки сил, и, чтобы подняться, приходилось делать затяжные остановки. «Спуск небольшой, но полегче будет, — поддержал сам себя Шагалов. — Подъем позади».

С трудом открыл густо слезившиеся на ветру глаза, поднялся и двинулся по отлогому спуску. Когда посмотрел вперед, заметил мерцающий, похожий на далекую звезду огонек: светлое пятнышко то приближалось, то удалялось… «Мерещится», — недовольно подумал Шагалов. Огонек приближался, ширился, становился ярче.

— Прожектор! — закричал Шагалов. — Миша, прожектор! — Он повернулся и бросился к тягачу.

Бежать не хватало сил. Сделал несколько шагов, споткнулся и упал, ударившись лицом о заостренную наледь. Подняться не смог. Вытер с лица кровь и пополз к тягачу. Ухватившись за трак гусеницы, привстал, натужно прохрипел:

— Прожектор!

— Залезайте скорее! — поторопил Пряхин, но, заметив на лице Шагалова смерзшуюся сукровицу, спросил: — Что с вами? Кровь…

— Да черт с ней, с кровью! — Вперед, Миша! Вперед! — Шагалов сунул в пересохший рот пригоршню снега и с помощью водителя влез в кабину.

Тягач остановился возле лазарета. Шагалов взял игрушку — Пушка, открыл дверцу, сполз с сиденья, и тут же сильный порыв ветра опрокинул его. Он попытался подняться, цепляясь руками за неровности, но ветер тащил его до тех пор, пока не прижал к стене. Привстав на колени, Шагалов оперся о сруб дома и двинулся вдоль стены.

Отыскал в темноте дверь, протиснулся в нее и вполз в лазарет. Тишина и неяркий свет керосиновой лампы испугали его, обдав сердце холодом. Осторожно открыл дверь кабинета врача и увидел Нину Сергеевну. Она, как ему показалось, обрадованно двинулась навстречу, но остановилась и приложила палец к губам.

— Опоздали… Не дождалась Танечка…

Шагалов вздрогнул и, почувствовав, как ослабли ноги, схватился за спинку стула. В голове гудело. Лицо Нины Сергеевны расплылось в желтовато-сером мареве.

— Что, что вы сказали? — сквозь тяжелое дыхание прохрипел Шагалов, ощущая, как под ногами зыбко закачался пол.

— Опоздали немножко, говорю… Очень уж она ждала Пушка. Часто спрашивала. Я ей сказала: дядя обязательно привезет… Успокоила. И она так и уснула… Я слышала как, засыпая, она шептала: «Пушок, мой Пушок… Дядя привезет…» Да вы снимайте шубу… Такая холоднющая!

Шагалов рывком сбросил шубу на пол. Сдирая с обледенелых ресниц изморозь, вошел в палату. Впервые в жизни он вдруг ощутил прилив никогда не испытанной им ранее отцовской радости. Шагалов опустился у изголовья кроватки на колени, положил на подушку Пушка и долго смотрел на спокойное, слегка порозовевшее лицо спящей девочки.

Владимир СКОРИНКИН

* * *

Над говорливою рекой
Ветра не плачут сиротливо.
И ты, припав ко мне щекой,
Стоишь над вспененным обрывом.

Какой безоблачный денек
Нам осень щедро подарила!
Кузнечик быстрый на пенек
Погреться прыгнул легкокрыло.

В тенистой тишине лесной,
Где глина влажная все лето,
Как будто яблоня весной,
Куст розовеет бересклета.

Как элегична и тиха
Листва, что шелестит под ветром.
Твоя нежданная тоска
Пусть станет нежностью и светом.

Согреет нежность мураша,
Пичуг, что в кронах хороводят.
Пусть успокоится душа
Всей соразмерностью в природе.

Не думай о зиме своей,
Ведь жить на свете стоит, право!
Жизнь — дар! И нет его щедрей!
И потому ведь так упрямо

За край, что безнадежно крут,
Своими голыми корнями,
Как будто щупальцами спрут,
Сосна цепляется под нами.

* * *

Ветер струны чуть тронул, и вдруг
Опадает за звуком звук,
Опадает на пожни и тропки
Лип и кленов огонь неторопкий.

Как виски, от мороза луг
Покрывается сединой,
Самый дивный и строгий звук
Обрывается тишиной.

* * *

О милая порывистая фея,
С душой, в себя вмещающей весь свет!
Ты для меня и оберег от бед,
И греза, что плывет, надеждой вея.

Я вечности пою, пою тебе я,
И так шлифую каждый свой сонет, —
Как создаю скульптурный твой портрет.
Я — твой Пигмалион. Ты — Галатея.

У нас, у них ли — счастье на двоих.
Святое чувство, нас с тобой любя,
Крылами наши души опахнуло.

С тобой мы будто отраженье их,
Хоть Афродита душу не в тебя
Со страстью вместе, а в меня вдохнула!

* * *

Твое призванье первое — балет, —
Наследник легконогой Терпсихоры!
И в венском вальсе, и в молдавской хоре
Себя ты воплощаешь с юных лет.

Когда за пируэтом пируэт
Ткала и вышивала ты узоры
Пуантом в воздухе, — не то что зори,
В глазах пылало зарево комет.

Хоть на двоих у нас одна душа,
Ты мнишь себя и нынче балериной.
Гляжу, от восхищенья чуть дыша,

Как ты с тяжелым рюкзаком заспинным
Выделываешь па и антраша,
Бредя на электричку тропкой длинной.

* * *

Исполнились предвестья Заратустры,
Тьму побеждает свет, что впереди.
Хоть в лед зеркальный смотрят сосны грустно,
Печали нет уже в моей груди.

Сегодня путь мой — мимо перелесков
На пойму, где ледок блестит уже,
И свет отображается небесный
В моей крапленой холодком душе.

Старался, чтобы не было в ней скверны
И зеркалом кривым стать не могла.
Боялся быть ханжой, Фомой неверным,
И не носил за пазухою зла.

Я был прямым, хотя жил в королевстве
Кривых зеркал и душ, и дел кривых…
Мечтается в лесу легко, как в детстве,
Под тихий шорох сосен вековых.

Я жизнелюб, хотя душа готова
К мгновению, когда сгорит дотла,
Когда наденут на меня обновы,
Завесят ситцем черным зеркала.

И сбудется предвестье Заратустры,
И зло стоит, как прежде, на пути.
Хоть в лед зеркальный смотрят сосны грустно,
Печали нет и не было в груди.

* * *

Когда я умру, а умру
Когда-нибудь я, это точно,
Родню и друзей соберу.
Мы будем беседовать молча.

При жизни такой же я был —
Чуть замкнутый, не говорливый.
Свой крест до могилы носил,
Нелегкою долей счастливый.

И ввысь из-под век я взгляну,
И, как подобает поэту,
Как в детстве — в речушку нырну
С обрыва песчаного в Лету.

Потомственный двинский кривич,
Со всей прямотой заповедной —
Исчезну, как искра, как Знич,
Оставив свой след неприметный.

Порою срывались с пера
Слова, как шершавые камни.
Но все же я сделал добра
Не меньше, чем сделали зла мне.

* * *

Мне звезды помогли и этой ночью.
Рассказ я останавливаю точкой.
И зачехляю верное стило,
И будто свет непостижимый звездный
Доходит до земли сквозь мрак морозный, —

Из лет ушедших до меня дошло
Петрарки, Данте, Байрона тепло.
Стремительный, упрямый, вдохновенный, —
Хотелось мне, чтоб этот свет и жар
Я отразил бы, как стеклянный шар.

Не нужно мне хвалы и славы бренной!
Лучи, что отражаются мгновенно,
Пусть вынудят сверкать еще сильней
Среди убожеств темноты духовной
Грань белорусской речи нашей кровной.

Пусть ни рубля не даст мне казначей!
Слова их песен для моих очей
Всех яхонтов, всех бриллиантов краше.
И я тому сегодня очень рад,
Что смог я этот антиквариат

Монументальной световой поклажей
Внести в сокровищницу речи нашей,

Хоть, может, это и не ко двору…
Терцины и терцеты без заботы
Отчизны нашей новым патриотам

Страны, в которой вырос и умру, —
Дарю! — лишь вековую пыль сотру, —
Былой чтоб соответствовали силе.
Я верю: книгу взяв, потомок мой
Не скажет, пыль с нее стряхнув рукой:

«Какой язык, однако, загубили!
За что его так предки невзлюбили?»

* * *

Я не уверен, что однажды
Все путы зла сорвать смогу,
Хоть с верой и живу пока что,
Мол, все осилю на веку.

Хотел найти ответы сразу,
Но понял: этим и грешил.
Всемирной злости метастазам
Не поразить моей души.

Я слушать перестал упреки
И замечать свою тугу.
Не набиваюсь я в пророки
И стать бессмертным не могу.

Что бьет в груди бесперебойно,—
Душа всю боль смогла унять
И приготовилась спокойно,
Что предназначено, принять.

Перевод Глеба Артханова.

Владимир САЛАМАХА

ЛИЦА И ЛИК

(Фрагмент)

9

…Каждое лето после обильных дождей на реке случается паводок — тогда вода срывает с нижнего склада, находящегося выше Буды, бревна, а то и целые плоты, и стремительно несет их по течению, пока здесь, возле деревни, где русло делает колено, не сталкивает с левым берегом. Тогда бревна перегораживают реку: здесь образуется своеобразная запруда. Держится она до тех пор, пока не придут плотогоны и не растянут баграми затор, свяжут кругляки в плоты, подцепят к маленькому буксиру, и тот потянет их к плотине Чернецкой электростанции, чтобы там через шлюзы спуститься с ними ниже и тащить древесину в город к лесокомбинату.

Такой порой буднянские кавалеры перебираются по бревнам на тот берег в соседнюю деревню Хвойницу на танцы — там девичье общежитие местного торфопредприятия и лесхоза. Не будут же женихи, как ребятня да старушки, ходить за три километра к плотине, а потом почти полтора по ней, чтобы попасть в Хвойницу. (Так малышня бегала в кино, а старушки ходили в церковь — в Буде нет ни клуба, ни храма.)

Когда-то в детстве Колька осмелился перебраться по круглякам с того берега реки на свой.

…По мокрым, скользким, крутящимся в воде бревнам с того берега на этот, где стоит Николай, бежит мальчишка. Так и мелькают его покрасневшие пятки, а за спиной ветер развевает длинную, с чужого плеча, красную рубашку.

Николай видит, что мальчишка прижимает к груди что-то круглое, желтое, похожее на большую луну. Кажется, еще мгновение, и оно или она выскользнет из его рук, покатится по бревнам, а на самом глубоком месте нырнет между ними и, пока мальчик добежит до того места, исчезнет, заколышется из глубины бледным светом…

Николай не понимает ничего, что происходит вокруг, тем более не понимает, почему мальчик бежит через реку по скользким бревнам, если можно было перейти ее по плотине. Бежит он, как говорят в деревне, когда кто-то делал совершенно не то, что надо, а оно грозило опасностью, — на слом головы…

В то мгновение, когда Николай осознал это «на слом головы», он ясно представил, какая беда надвигается на мальчишку. И сразу же, словно сквозь туман, он разглядел: это же его сын, Гришка…

Николай закричал, чтобы сын, пока не поздно, возвращался назад, к тому берегу, и ждал там отца: ведь если кто сейчас и сможет перебраться через реку по скользким, танцующим под ногами бревнам, так это он, отец. И он все кричал Гришке, а тот не слышал его, бежал и бежал сюда, к своей деревне, домой. И Николай с ужасом понял, что он сам не слышит своего голоса — из груди вырывается стон…

Тогда он попытался сорваться с места, броситься навстречу сыну, надеясь перехватить его возле того места между бревнами, куда нырнула луна (откуда она взялась днем?), но не смог — ноги словно вросли в землю. И вообще сейчас Николай был сам не

свой. Единственное, что ему сейчас было подвластно, — только мысли. А между ними, самыми разными, одна — жуткая: он не может предотвратить беду, надвигающуюся на сына с катастрофической скоростью…

А сын по-прежнему бежал к фарватеру, где течение раздвинуло бревна. Там — омут. И было понятно, что Гришке его не перепрыгнуть и что остановиться он уже не сможет. И вот до омута остается один шаг. И в этот момент Николай закричал что есть силы, сорвался с места, бросился навстречу сыну. Но было поздно. Гришка оттолкнулся от бревна, оно нырнуло в воду, взлетел над омутом, раскинув руки, замахал ими, словно крыльями: в то же мгновение круглый, как полная луна, хлеб исчез в бурлящей темной воде. А Гришка, на секунду задержавшись в воздухе, неистово закричал:

— Хлеб!.. Хлеб!..

То ли сон, то ли видение исчезло…

…Николай с трудом поднял от стола голову, словно налитую свинцом. Кололо в висках, болел затылок, одеревенела шея. И сразу же, как открыл глаза, его ослепил яркий свет лампочки, висевшей низко над столом. Какое-то время Николай не понимал, где он и что с ним. Но вскоре стол, сколоченный из грубых досок, старая шинель без погон, висящая справа на стене, узкие деревянные нары вдоль нее и небольшое зарешеченное окошко напротив, лай собаки на дворе и яростный приказ: «Фас!..Чужие!» — возвратили его в реальность — в сторожке.

Почему-то вольной показалась ему тьма за зарешеченным окошком, как и вольными казались мотыльки-снежинки за ним. Но приснившееся чувство страха еще долго владело им. Может, потому, что вновь до него долетел яростный лай овчарки и идиотски-радостная команда: «Фас! Чужие…» Подумалось, что сейчас прозвучит выстрел… Николай вздрогнул… Ему захотелось подхватиться, вышибить тяжелую железную дверь, бро-

ситься в темноту, подбежать к хозяину пса, схватить того за грудки, заорать на весь мир: «Люди, что же это такое…» Но не бросился, он даже не пошевелился на табуретке — Ерофей тренирует пса, есть такое хобби у бывшего охранника ГУЛАГа… Верит человек, что вернется то далекое страшное время.

Беда это: больной, несчастный старик. Наверное, то время сломало его жизнь, заставило видеть мир, полный врагов, убедило, что с ними надо бороться ежедневно, ежечасно, беспощадно уничтожая…

Беда и в том, что ночные забавы старого отставника далеко не безобидны. Еще бы: вдоль высокой, похожей на тюремную ограду из бетонных плит стены, сверху оплетенной колючей проволокой, между двумя столбами он натянул шнур, закрепил его на шарнирах и коловороте. На этом шнуре болтается набитый опилками комбинезон. Когда Ерофей крутил коловорот, муляж человека начинал «убегать», и волкодав по команде «фас!» бросался на него.

Старые комбинезоны сторож выпрашивает у водителей. Ему нужно, чтобы одежда пахла теми людьми, которые здесь работают. Мужчины смеются, дескать, пусть забавляется старикан, а Николаю в этом видится нехорошее...

Сегодня, точнее, вчера, вернувшись в полночь в гараж, чтобы утром, как было приказано, «подать» шефу без пяти шесть машину, Николай с разрешения Ерофея решил скоротать ночь в его сторожке. Ужасное место, ужасный сон, приснилось, будто это не он мальчишкой бежит по бревнам через реку, а сын.

…Тогда Николаю было столько же, как сейчас Гришке, — девять лет. Колькина мать лежала в больнице в райцентре. За мальчиком присматривали соседи, дед Федор и бабушка Полина. А чтобы он не шлялся без дела, хвойницкий пастух, старый Евтеха, друг деда Федора, взял мальчика к себе в пастушки.

Мальчику было тяжело подниматься рано утром, чтобы не опоздать. Дед Федор всегда будил его стуком в

окошко. Когда же Колька вставал, приводил себя в порядок, старик не преминал напомнить ему, чтобы он аккуратно, без баловства, переправлялся через реку на его челноке. И пока Колька плыл к тому берегу, дед Федор стоял и наблюдал за ним.

Переправившись через реку, Колька привязывал к вербе челнок и бежал в деревню. С этого ее конца он собирал стадо и по длинной улице гнал на тот конец, где его ожидал живший там дед Евтеха.

Вдвоем они гнали стадо за деревню. Сразу же за последними избами начинался колхозный луг. Надо было смотреть в оба, чтобы стадо не вошло в луг, тогда беды не миновать — пастухов оштрафуют за потраву: коровы-то не колхозников, а лесоучастковцев из нижнего склада. (У колхозников было свое стадо.)

Колька как угорелый носился за коровами, справлялся. Конечно, Евтехе без мальчишки никак нельзя.

Когда по пыльной дороге, минуя луга, входили в лес, можно было отдышаться. Коровы начинали есть лесные травы, разбредались по полянкам. Евтеха садился на пенек, звал Кольку. Когда тот прибегал, старый пастух говорил, что сейчас буренки никуда не денутся, разбредутся по своим полянкам, а к полудню, как всегда, потянутся в глубь леса к ручью на водопой и отдых. Так что — в самый раз пастухам перекусить.

Старик клал на колени полотняную торбочку, будто спрашивал:

— Ну как, раб божий Николай, посмотрим, что собрала нам моя Невдашечка.

Он важно, не спеша, развязывал торбочку, доставал из нее хлеб, яйца, сало, бутылку молока. Затем все перекрещивал, приглашал Кольку завтракать.

Евтеха как никто в деревне был набожный. Взрослые говорили, что он еще до войны где-то принял старую веру. Вспоминали, что, когда его раскулачили (хотя никто не знал — за что?) и гнали по деревне, Евтеха, кланяясь людям, крестился тремя пальцами. Но после

войны, когда в пятидесятые годы возвратился, крестился уже двумя перстами. Пришел он из ссылки не один, привел с собой хрупкую, маленькую, ну совсем девчонка, жену, которую почему-то звал Невдашечка.

Николай и сейчас не знает, что связывало старого солдата и героя деда Федора, любителя хорошо выпить и покурить крепкий самосад, с богомольным Евтехой: этот водки не замечал и на дух не переносил табак. Более того, он никогда не пил воды из одной кружки с иноверцами — так он звал всех буднянцев и хвойничан. Но говорили также, что в молодые годы Евтеха и Федор якобы дрались за Полину: тем более непонятной была сейчас их дружба…

Сначала Колька отказывался от чужой еды. Он говорил, что дома позавтракал. Евтеха сказывал, что это в его, Колькину, оплату не входит, да и негоже врать старшим, мол, я все о тебе знаю: и что один, и что мама в больнице, и что парень ты неплохой…

Старик доставал из торбочки две одинаковые кружки. Одну себе, другую, ручка которой была перевязана веревочкой, подавал Кольке и объяснял:

— Ты, Николай, не обижайся. Вера у меня такая, запрещает пить-есть из одной посудины с иноверцами.

Колька ничего не понимал, но не обижался на Евтеху: что возьмешь с этого старика с седой длинной бородой, который верит в Бога. Он же, наверное, в школе не учился. А какая школа при царе была, Колька знал из учебников: да в ней закон Божий преподавали, вдалбливали детям в голову всякую ерунду. Тогда даже пионерской организации не было! Колька же готовился вступать в пионеры: а как же!..

Но и иное слышал мальчик от старого богомольца: «Если человек обижает другого, если не разделит с голодным свой хлеб, не согреет того, кто нуждается в тепле, так, какой бы он веры ни придерживался, сколько и какому Богу ни молился бы, грош ему цена».

Колька тогда мало что понимал в такой философии старого отступника (так Евтеху иногда называл дед Федор), но боялся одного: вдруг в школе узнают, что он слушает нравоучения богомольца, тогда не примут в пионеры и на этот раз. Ведь в прошлый раз, когда в пионеры принимали его одноклассников, Кольки в школе не было — болела мама, и он пропускал занятия, ухаживал за ней.

Тогда Колька тайком плакал: ведь он один из класса не пионер. Ему было очень обидно. Но однажды учительница сказала, что в пионеры его примут уже в четвертом классе, перед Октябрьскими праздниками. А это значит, этой осенью, так что ждать ему не так уж и долго.

Евтеха все лето подкармливал мальчика, хотя кормили его и хозяева коров. Давали с собой. И Колька даже приносил еду домой.

Дед Федор, глядя на Кольку, радовался, что он за лето набрался сил, как говорил, «окреп», и сейчас называл его не иначе как Николай. Сосед несколько раз ездил в райцентр, чтобы навестить Колькину мать в больнице, возил ей передачи, собранные Невдашечкой. Возвращаясь, успокаивал мальчика, что его мама поправляется, что она радуется за сына — он же при деле, взрослый.

Этот «взрослый» не раз втайне от людей плакал, что его мамы нет с ним, что она все болеет и болеет. Единственное, что было его утешением, так это что он работает, а коли так, то, как вернется мама, они смогут какое-то время жить без забот. И все у него было хорошо до тех пор, пока не пошли дожди. Тогда с нижнего склада сорвало эстакаду и на реке возле деревни образовалась запруда из бревен. Колька вынужден был вставать совсем рано, бежать к плотине — а это большой круг — и по ней перебираться на тот берег, чтобы не опоздать собрать стадо.

Часто утром, когда Колька бежал к плотине, его на «козлике» обгонял Гел. Мальчик знал, что тот ехал в Хвойницу, но Гел ни разу его не подвез. В Хвойнице

была замужем Гелова дочь, и отец (это знали все) часто возил ей что-то из колхозной фермы или амбара.

Евтеха говорил Кольке, что к школе он неплохо заработает, сможет купить себе не только костюмчик, но и теплую жакетку для матери, да еще останутся деньги на жизнь. Старый богомолец, когда Колькина мать вернулась из больницы, давал ей лекарственные травы — Евтеха слыл знахарем, он им стал, говорили, вернувшись из ссылки с севера.

Трудно определить, от лекарств или от трав, но к осени мать выздоровела и даже стала ходить на работу в колхоз: боялась, что на зиму останется без трудодней. Да и бригадир не раз упрекал ее, что все деревенские мальчишки помогают колхозу, а ее сынок к вражине-кулаку приклеился. А раз так, то к зиме она ничего не получит из колхоза: поголодает с сыном — будет знать, что почем. Но мать не хотела, чтобы Колька ходил в колхоз, говорила, что в колхозе она «поклала» на ферме здоровье и сейчас никому до этого нет дела.

До болезни мать доила коров в продуваемом ветром коровнике. Она очень рано поднималась, поздно возвращалась. Сама, с другими такими же доярками, таскала коровам бесконечное множество ведер воды, силос, убирала навоз. Вечно ходила простуженная, но ни бригадиру-пьянице, ни Гелу до этого не было дела. Конечно, в таком положении были все доярки, молодые и пожилые женщины. Все они часто болели, работали как каторжные, у них не было ни выходных, ни отпусков, в отличие от тех, кто работал на лесоучастке или на нижнем складе. Мальчик, видя это, уже тогда понимал, что чем больше работает человек, тем более он унижен, как его мать, например.

Однажды накануне Спаса, когда из больницы вернулась Колькина мама, Евтехина Невдашечка испекла хлеб. Старик утром, когда Колька собрал стадо, дал ему огромный душистый каравай и сказал, чтобы мальчик шел домой, отнес матери — приближается праздник.

И вообще, пусть Колька уже отдыхает перед школой, расчет Евтеха принесет ему чуть позже, когда соберет с людей плату. И еще говорил ему пастух, что хлеб этот — особенный, ибо Колька его заработал сам.

Мальчик еще никогда так не радовался, как тогда. Еще бы: он заработал хлеб! Он взрослый и сильный. Сейчас он никого и ничего не боялся, даже ихнего обидчика Гела. Колька верил: как только мать поест этого хлеба, то выздоровеет окончательно.

Конечно, Кольке хотелось как можно скорее порадовать мать. Разве он мог бежать домой по дальней дороге — через плотину? Известно, если у тебя такая радость, забудешь о всякой осторожности и никакие преграды тебе не страшны: скорее, скорее…

Уже когда мальчик бежал к реке, прижимая к груди каравай, его на «козлике» догнал Гел. Колька, чтобы не попасть под колеса, остановился. Гел, как показалось мальчику, нехорошо усмехнулся, прибавил газу — машина направилась к плотине.

Колька вновь побежал. Он спешил к реке и думал только об одном: как обрадуется мама, когда он положит на стол каравай… Он представлял, как она будет гладить его по голове, говорить, что сын уже взрослый, настоящий помощник и что сейчас ей ничто не страшно, даже Гел.

Колька бежал и не видел, что на противоположном берегу, на том месте, к которому он стремился, стоит конюх Осип. Он, как всегда в это время, пригнал к реке поить лошадей. Осип, поняв, что мальчик собирается по бревнам перескочить реку, начал махал ему кулаком, кричал, чтобы Колька не смел лезть на бревна, грозился исполосовать ремнем задницу, а мальчик ничего этого не видел и не слышал. Он уже вскочил на первый плот. Слабо связанные бревна, словно клавиши, заплясали у него под ногами, а Колька, не обращая на это внимания, прыгал по ним вперед, к родному берегу. Он не видел, что ближе к середине реки, к фарватеру, не плоты, а

несвязанные бревна, что они тяжело трутся друг о друга, угрожающе ворочаются — здесь бездна…

…А дальше все было, как во сне с его сыном Гришкой… Прыжок над бездной, и раскинутые в стороны руки, словно крылья, будто Колька хотел взлететь, и каравай, нырнувший в темную глубину, и отчаянный крик: «Хлеб!.. Хлеб!..»

Уже проваливаясь в бездну, Колька чудом успел ухватиться за бревно и не выпустил его даже тогда, когда из разжатых пальцев по воде растекалась кровь. Он не помнил, как Осип длинной жердью подтаскивал его к прибитому к берегу плоту. Когда мокрый, перепуганный Колька лежал на берегу и повторял как заведенный одно и то же: «Хлеб!..» — Осип не бил его и даже не бранил, а только беззвучно, по-старчески плакал.

Кажется, ни до того случая и никогда потом Николаю не было так больно и обидно. Ему было жаль себя и маму. Тогда ему казалось, что с этим заработанным караваем, раздавленным бревнами, исчезнувшим в бездне, навсегда исчезла надежда на добро в его, Колькиной, и горемычной маминой жизни. Он считал себя виноватым в том, что не послушался маму, просившую ходить только по плотине, деда Федора, Евтеху. Это была его не по-детски осознанная вина (подвел всех). Она жгла душу словно незаживающая рана. И дома, куда его, выбиваясь из сил, почти бесчувственного принес старый Осип, Колька не мог успокоиться, понимая, что он натворил.

А вечером, когда он, истерзанный обидой, упал в полузабытьи, во дворе застучали колеса. Послышалось: «Тпр-у-у!..» Через минуту в хату вошел Евтеха. Он посмотрел на него, лежащего на кровати, на опечаленную, растерянную мать, постоял у порога и вдруг, вопреки своей вере, взял на скамейке кружку, посудину иноверцев, из которой они пили, зачерпнул из ведра воды и, думая о чем-то своем, долго пил.

Потом Колька заснул, спал целые сутки. Мать говорила, что Евтеха творил над ним молитвы и заговоры.

Он просил Бога, чтобы к рабу Божьему Николаю «не пристала никакая хворь», чтобы «ум его не помутился», чтобы «падучая» прошла стороной и сгинула в сухом лесу.

Колька проснулся только тогда, когда следующим вечером приехал на телеге Евтеха. Он подошел к кровати и положил свою грубую ладонь ему на лоб. Какое-то неизвестное до сих пор спокойствие заполонило мальчика. Ему стало легко и хорошо.

И снова старый богомолец пил воду из их кружки.

А осенью, когда пошли первые заморозки, Евтеха привез его, Колькин, заработок: три мешка ржи (он сказал: «хлеба»), хорошую плашку сала, почти воз картошки и даже горсть денег.

Евтехина Невдашечка передала от себя гостинец: яблок, лука, чеснока, огурцов, помидоров — чего в тот год у них не было, так как за огородом ухаживать было некому и он зарос сорняком.

С тех пор Николаю, и когда был мальчиком, и когда вырос, стал взрослым, и сейчас, может быть, тысячу раз снилось одно и то же — он, мальчишка, прижимая к груди каравай, бежит по мокрым скользким бревнам через реку, и… срывается в бездну…

Во сне он понимал, что это сон, на самом ужасном заставлял себя просыпаться, а проснувшись, вновь и вновь мысленно возвращался к былому. И сейчас его сковывал ужас, ему как никогда было жутко: сейчас во сне был не он, а его сын, Гришка…

После этого Николай уже заснуть не смог. Может, если бы был дома, еще поспал бы. А здесь, в сторожке — нет!

Он подумал: если бы дежурил другой сторож, Пенкрат, так с тем можно было бы договориться, взять машину и съездить домой, посмотреть, как там сын. А с Ерофеем, помешанным на ненависти и недоверии к людям, не договоришься. Для него люди существуют

только как враги. Наверное, когда-то Ерофей в лагерях издевался над невинными: вот и пришла расплата, его разум помутился, иначе как объяснить такое?

Тогда Николай подумал, что, видимо, зря волнуется за сына: да спит Гришка, спит. И все же в семь утра, позволит или не позволит шеф, Николай позвонит Артимоновне. Старушка в это время просыпается, чтобы вести Рекса на прогулку. Николай попросит, чтобы она посмотрела, как там Гришка, проследила, чтобы он поел, не опоздал в школу. Артимоновна просьбу выполнит с радостью, позовет Гришку к телефону, заставит покушать, вообще посмотрит, как там и что.

Да и с женой должно быть все в порядке: там же врачи, и с малышкой — тоже. Но к чему такое приснилось?..

Иногда он верил в сны, иногда — нет. Когда у тебя все хорошо, на сны не обращаешь внимания. Когда же что-то не ладится, начинаешь верить в разные глупости: гороскопы, приметы, боишься черных котов, перебегающих перед машиной дорогу, сглаза, и вообще сам не знаешь чего. Наверное, такова человеческая натура.

Перевод Максима Печеня.

Михаил ПОЗДНЯКОВ

* * *

Нашел льняное покрывало,
И всколыхнулась боль во мне.
Его когда-то мама ткала...
Я кросна вспомнил, как во сне.

Земное чудо здесь рождалось...
Челнок сновал туда-сюда...
Но уж и цвета не осталось
За эти долгие года.

Где перезвон пречистый самый,
Где синь бездонная течет, —
В раю моя сияет мама,
Покровы ангельские ткет.

* * *

Купил у старухи ромашки
И тысячу сунул в придачу.
И понял, что вышла промашка:
— Мужчина, — вдогонку, — а сдача?

Остатки от горького счета
Тихонько я в пригоршню сгреб...

Пристыжен, смущен от чего-то,
И горд за родимый народ.

* * *

Что рассказать о доле трудной
Души измученной, больной?
Она грозит, как голос трубный,
Гудит, грохочет над землей.
Она как будто почивает
Под нежной сенью доброты...
Такое часто ли бывает
Средь горькой нашей темноты?

* * *

Какая сладость в тишине!
И в той, что чутко правит бором,
И в той, что в самой глубине,
Где невозможно быть актером.

Где думаешь светло о тех,
С кем сводит непреклонный случай,
Где вдалеке от всех утех
Тебя святые тайны учат.

ТРИОЛЕТЫ

1

Тропинка. Поле. Ни души.
Один стоишь пред Богом...
О, как же это много! —
Тропинка. Поле. Ни души...

Уходит прочь тревога.
Как ясно, хорошо в глуши.
Тропинка. Поле. Ни души.
Один стоишь пред Богом...

2

Листвою тихо шелестеть —
Упруго, солнечно, багряно.
В безлюдном парке утром рано
Листвою тихо шелестеть.

Волнением живым нежданно
Озвучить сброшенную медь.
Листвою тихо шелестеть —
Упруго, солнечно, багряно.

3

Весной приеду я в Забродье,
Чтоб детству в очи поглядеть,
Чтоб, как земля, помолодеть,
Весной приеду я в Забродье.

Душою чтоб не очерстветь.
Наносы смоет половодье.
Весной приеду я в Забродье,
Чтоб детству в очи поглядеть.

4

Не цвести, не красоваться груше.
Вот, чернеет голыми суками.
Меж туманов белых лепестками
Не цвести, не красоваться груше.

Будто колокольцами, над нами
Все звонила дивными годами...
Не цвести, не красоваться груше.
Вот, чернеет голыми суками.

5

Мне вспомнились твои слова
И боль в душе вдруг встрепенулась.
Уснуть не смог, всю ночь я думал.
Мне вспомнились твои слова.

На очи слезы навернулись.
Но эта боль мне не нова...
Мне вспомнились твои слова
И боль в душе вдруг встрепенулась.

6

Какое это счастье — жить,
Когда свет совестливый, чистый,
Когда живешь с душой лучистой,
Какое это счастье — жить!

И хочешь к звездам пламенистым
Мгновенья жизни устремить.
Какое это счастье — жить,
Когда свет совестливый, чистый.

7

Зима пришла: метель и стужа.
Остывшей не согреть души.

Дух лета тихо откружил.
Зима пришла: метель и стужа.

Ужель так сильно нагрешил,
Что этой наледи не сдюжу?
Зима пришла: метель и стужа.
Остывшей не согреть души.

8

Черемухе цвести не рано ль?
Еще нахлынут холода.
Еще навалится беда.
Черемухе цвести не рано ль?

Заныла в сердце сквозь года
Давно залеченная рана.
Черемухе цвести не рано ль?
Еще нахлынут холода.

9

Когда теплом нахлынет память
Забытых чувств и дорогих,
Не надо плакать, встретив их,
Когда теплом нахлынет память.

Нам дней не встретить молодых
И трепетных черемух заметь,
Когда теплом нахлынет память
Забытых чувств и дорогих.

10

Прощай, прошла пора наива,
Когда как в сказке светлой жил.
Во тьме холодной — ни души.
Прощай, прошла пора наива.

Пусть цветень в мае запуржит,
Не расцветет на сердце диво.
Прощай, прошла пора наива,
Когда как в сказке светлой жил.

11

Когда мое остынет сердце,
За тень пустую не цепляйся,
От нежности не задыхайся,
Когда мое остынет сердце.

Я не смогу, не удивляйся,
Огнем души твоей согреться.
Когда мое остынет сердце,
От нежности не задыхайся.

*** * ***

Догорает костерок, и зыбко
Дым уходит в темноту елин.
Подари мне, солнышко, улыбку.
Я в лесу задумчивом один.

Больше нет родной, любимой мамы...
Чтоб душа моя не умерла,
Одинокий, грустный, верно, самый,
У тебя прошу теперь тепла.

Уж неделю под дождем бедую,
Вспоминаю светлые деньки.
Знаю, не заменишь ты родную,
Так хотя б немного помоги.

И нежданно туча посветлела,
Приоткрыла солнца закуток,
Будто мама кротко посмотрела,
Прошептала: «Не горюй, сынок...»

Перевод Глеба Артханова.

Алена БРАВО

HOMO VITREUS[1]

Множественная миелома позвоночника — так она звалась. Росла с невиданной быстротой, как живое существо. Распространилась уже на мягкие ткани за грудиной, когда лечащий врач предложила химиотерапию. «Мы ее законсервируем. Останется небольшой горб». Она так уверенно говорила, эта крашеная блондинка с ярко-красными ногтями. Я думаю, в таких местах нехорошо с маникюром — ярко-красным… Но он ловил каждое слово ее будто бы алым соком измазанных губ. «Миша, — робко предложила я, — поедем к травнику!» Он так зло на меня цыкнул тогда. «Травы — после химии!» Сказал, как отрезал. Я потом зашла к этой ярко-красной. Она весело хохотала в мобильный телефон. «Ему поможет химия?» — «Ну что вы. Чудес не бывает. Мы продлеваем ему жизнь». Что-то должно быть по-другому в таких местах, совсем по-другому…

От химии ему сразу же стало хуже. Они приходили, наблюдали, перекидывались непонятными фразами на кастовом своем языке. Мне кажется, за их самоуверенностью и спешкой скрывалась растерянность. У них это был, я подслушала, первый случай — чтобы опухоль в позвоночнике росла так сверхъестественно быстро. Потому и отстреливались наугад, вслепую. Решили: сделать переливание крови.

[1] Человек стеклянный (лат.).

Кровь была, мне запомнилось, женская. Мише опять стало плохо. Вот тогда-то он — уже черный весь — прохрипел: «Забери меня отсюда…» Но верить им продолжал: и дома ездил на своем «жигуленке» в сельскую амбулаторию на химию. Обратно в машину его несли...

Он верил им так, как никогда не верил Богу.

…Руководил мной во всем. Словно не муж, а отец. Детей у нас не было: сошлись уже в немолодом возрасте. Говорил: «Ты, Ольга, как дитя малое…» С утра в уме держал и мою работу: чем я должна в этот день заниматься. Если в шесть часов я еще сплю, сердился: «Почему лежишь, не идешь в мастерскую?» Сейчас самое трудное для меня — это свобода. Как будто провалилась в пустоту... Никто не дергает, не понукает. А я уже привыкла к постоянному напряжению, к тяжелой работе…

…Много сил отдавал дому. Все делал сам. Ликовал, когда работал. Не то что некоторые — побыстрее закончить. Делал все медленно, старательно: наслаждался. Когда шпатлевал — щекой прикоснуться приятно было. Газ провел в мастерскую, воду — в баню и теплицы. Сад посадил. Все любил довести до совершенства. А в последнее время так спешил, даже непохоже на него… В тот день, от которого я отсчет веду его болезни, пять прицепов дров заготовил. Зачем так много? Думаю, ангел ему подсказывал, что срок земной на исходе. Потому и старался: для меня. Знал, что я одна не управлюсь...

Человек создан не только для труда, но и для отдыха. И за душой смотреть должен. В наши первые совместные годы (я бросила город, школу и переехала к нему в деревню) посещали театры, концерты. По вечерам гуляли по деревне. Он рассказывал смешные истории — сам местный, все про всех знал: тут тетка Зинаида живет, к ней внук из Америки приезжал — умирать, привез с собой из-за океана лакированный гроб, но неожиданно поправился, гроб по сей день у тетки в сарае стоит… Тут подворье Ивана-летчика, во время войны он все Бога искал в облаках, не нашел и до сих пор к батюш-

ке пристает, укажите, мол, отец, точную дислокацию… Но потом все это ушло. Миша сказал: «Дышать воздухом надо с пользой». И началось: то снег расчистим, то бревна с места на место перенесем.

Трудно определить, хорошо это или плохо, когда человек все время делом занят. Седьмой день Богом дан для отдыха. А Миша до работы был зверь. Меры не знал. Злой, упрямый — никогда меня не слушал. Не понимал, что я слабее, потому что женщина. По себе судил. «Ольга, — говорил, — есть слово “надо”». Если он мешал бетон, и я должна была помогать. Если стеклил, шпатлевал, дрова рубил — я рядом. Мне это казалось черствостью. Уйду в березняк, прижмусь к стволу, поплачу… а потом прощу. Он ведь мне — и отец, и муж. И — дитя… Я всегда считала, что это высшая воля. Говорят, в монастыре очень тяжело: труд непосильный, воздержание от пищи, строгие молитвенные правила. Господь меня пожалел: не в монастырь направил, а в миру дал тот же опыт, передал меня в руки мужа для воспитания моего. И часто я спрашивала Господа: за что мне такая благодать? Училась быть смиренной. Бывало, поплачу — а потом подойду, обниму: «Мишенька, любушка, давай садиться уже кушать».

Вот только сейчас подумалось: если бы он меня жалел, как бы я сейчас, ничего не умеючи, по дому справлялась? Выходит, это ангел Мишу наставлял, вот ведь оно что…

Камин доделать не успел: здесь и здесь должны были быть цветные стеклышки. Хотел изготовить их сам: мне не доверял. В последние дни, когда приехал племянник из Минска накрыть поленницу… Миша уже не мог ходить, ему вынесли кресло во двор — спорил яростно, грубо: вот тут надо отпилить, вот тут прибить. Никому работы своей не доверял. А жизнь свою беспрекословно отдал в чужие руки…

…В тот день поднялась метель. Пять прицепов дров он сам распилил и вывез на тракторе, я помогала. Ветер

шапку сорвал с головы, одежда взмокла. Умоляла: «Мишенька, хватит!» — но разве мои слова что-нибудь значили? Шапку вывернул наизнанку — и опять за работу. Потом трактор завяз в снегу, он его на хребте и приподнял. Признавался потом: что-то хрустнуло в позвоночнике. А вскоре начала расти опухоль…

Он верил врачам, как никогда не верил Богу. Говорил: «Вот ведь не в онкологии лежу — в гематологическом отделении. Значит, ничего плохого нет…» А я уже тогда все знала. Наш районный хирург (я у его дочери учительницей была) первым увидел снимок, он мне и сказал, что надежды нет. Я это скрывала от Михаила. Бог меня простит: он так хотел жить… Когда ему стало совсем плохо, отец Григорий его прямо в больнице исповедовал и причастил. Батюшка потом говорил, что Мишу очень легко отпевать было… Я храню пять больших тетрадей, где описан каждый шаг строительства храма у нас в деревне, день в день… Как много Миша сделал! И блоки таскал, и рубероид стелил, и кресты устанавливал вокруг деревни, чтобы самоубийства в ней прекратились (их много было в последнее время). Руками Миши сделаны лампадки из цветного стекла, что перед иконами висят, — это он успел… Храм вон там стоит, на пригорке, мы его старались сделать похожим на прежний, разрушенный при советской-то власти. Мишина мать певчей была в том храме, пятеро детей, Мишенька младший, и все пели в церковном хоре... Самые счастливые минуты нашей с ним жизни: крестный ход, когда в отстроенную церковь принесли чудотворную икону Матери Божией Умиления. Всю ночь шла служба, сотни людей приехали — прикоснуться… Миша смотрел на это и плакал. От горя не плакал, а от радости и умиления — не мог удержаться.

В последние годы он много работал со стеклодротом — это заготовки такие из цветного стекла. Терпение имел невероятное. «Стеклянной болезнью» называл свою страсть. Очень способные мастера вместе с ним начина-

ли — все бросили. Стекло капризный материал: чуть что — лопается, гнется только при сверхвысокой температуре и застывает мгновенно. Сколько раз я обжигала руки, плакала от боли. Миша кричал: «Учись!» Хотел мастерство свое хоть кому-то передать. Из-под его газовой горелки выходили фантастические олени, фламинго, аисты, зубры, ласточки, цветы… Последняя его работа — человек. Незаконченная… Из стекла человеческий образ сделать очень трудно. За полгода Миша прошел этот путь почти до конца. Облик выполнил, осталось отточить детали. После больницы я убирала в мастерской, фигурку эту нечаянно на пол смахнула. Миша ничего не сказал, только отвернулся. Хрупкий материал стекло. Как человеческая жизнь…

Мы с Мишенькой никогда не расставались надолго. Часто случалось: заговорим, а слова — одни и те же. Сны снились нам одинаковые. Он посадил под окном мастерской две ели. «В старости мы с тобой будем сидеть под ними. Вот тогда и отдохнем…» Две ели под окном. Говорил: «Это я, а это ты». Мое деревце отклонилось в сторону — он его выравнивал... А еще посадил рябину, облепиху, барбарис. Когда в мастерской работал, любил видеть перед собой яркие солнечные краски: желтую, красную, оранжевую...

Я смерти не боюсь: там я буду с Мишей.

Когда оставались считанные дни… отказал компрессор в подвале, он спуститься по ступенькам уже не мог, полз на коленях, починил, скрипя зубами от боли, — так хотел, чтобы после него я в мастерской продолжала работать. Теперь, когда делаю аиста или ласточку (птицы у меня почему-то лучше всего получаются), мысленно обращаюсь к Мише: «Вот видишь, не бросила». Дети из воскресной школы при храме приходят смотреть. Просят: «Научите». Мне кажется, Миша это видит и радуется…

День его рождения. Думала: что подарить? К вещам был равнодушен. Утром встала до света и сделала двух птичек. «Мишенька, это ты — гордый и я — покорная… Я буду смиренной, буду слушаться, только не покидай

меня!» Он уже сидеть не мог тогда, только лежал. Сказал: «Поставь на подоконник. Я буду любоваться…»

За день до смерти… Пригласили Мишу с его работами на фестиваль национальных культур в соседний район. Он кричал на меня, требовал: «Поедешь вместо меня!!» — потому что жизнь для него была в этих стеклянных фигурках. Вот тогда я впервые с ним поспорила: «Не поеду! Как я тебя одного оставлю?!» С нашими работами поехали другие. Были там высокие красивые тюльпаны. Мне потом рассказали: какой-то мужчина захотел их купить. Два цветка ему завернули, а третий… как только взяли тюльпан в руки, лепестки стали один за другим опадать… такое чудо, все поразились! Не разбился, нет — сам собой осыпался стеклянный цветок… Я потом сопоставила: как раз в этот час Миша и отошел.

Этот свой цветок он забрал с собой.

Валерий ГРИШКОВЕЦ

МЕЖДУ СМОЛЕНСКОМ И ОРШЕЙ

Распятье. Росстань. Август. Порубежье.
В распадках притаился листопад.
Но по утрам такая росность, свежесть,—
Не утерпел — к дороге вышел сад.

С антоновкой — ну что ему граница?!
С малиновкой — кто б ни был, хороша!..
И здесь, и там — до хруста — сладко спится,
Когда светла, как этот сад, душа.

А кочет — во весь дух! — там, за кордоном,
И залились в округе петухи!..
И струйкой к небу, и от дома к дому,
Не ведая границ, пошли дымки.

Тут все давным-давно вражды не знает.
Граница. Сад. Спаситель на кресте.
Объединяют нас?.. Разъединяют?..
А вот и солнце! Всем. Одно. Везде.

* * *

В д. Колбы на Полесье растет могучий дуб. Под ним в дни прохождения военной службы (1916— 1917гг.) любил сидеть А. Блок. Сохранилась в деревне и капличка[1], что поэт срисовал в свой альбом.

Взлетают в небо аисты высоко.
Отходит лето — скоро птицам в путь.
Сорвется ветер — зазвенит осока,
И пруд запорошит гусиный пух.
Свернет, пыля, автобус на проселок —
Мелькнет в низине стайка серых крыш.
И распахнется в зелени веселой
Село под сенью аистиных крыл.
Стога. Забор. Поленницы. Деревья.
Капличка светлоликая в саду.
Полесье. И — деревня как деревня.
Да вот — капличка и на взгорке — дуб.
Ах этот дуб, запутавшийся в небе!
Не знать нам дум, что зреют в желудях.
О доблестях, о родине, о хлебе?..
Где суть искать нам — в кроне ли, в корнях?..
К тебе ведет дорога?.. От тебя ли?..
Но нет конца ей — только синь вдали!..
Не счесть вовек того, что потеряли,
Как и того, что мы на ней нашли...

[1] Капличка (бел.) — часовенка.

* * *

Женщина уходит — в одиночку.
Следом — гром небесный каблуков.
Над Москвой, над стылой, гулкой ночью —
Только этот перебор шагов.

Так, видать, от прошлого уходят:
Зачеркнуть, забыть все, растоптать!..
Так идет в низину половодье.
Птицы так срываются — летать!

Женщина проходит — без оглядки.
Где-то между звезд блуждает взгляд.
У нее, конечно, все в порядке, —
Вон как вслед прохожие глядят...

ДОМА

За перекличкой лет моих и дней,
За перекличкой стаи перелетной,
Отчетливее слышу и ясней —
Судьбы труба звенит в пыли походной.

Звени, труба! Пусть пыль стоит столбом,
Пусть дым беды клубится над дорогой.
Вон перекат!.. За перекатом — дом,
Подкова счастья светит над порогом.

Звени, труба! И пусть летит в трубу
И дым беды, и горечь давней страсти.
Я в дом войду — перетряхну судьбу, —
Подковой месяц вспыхнет вдруг — на счастье!

Свети, свети... Присяду на крыльцо.
И с крынкой молока придет соседка.

Да, постарела... Но глаза, лицо!..
И выйдет мать. И потечет беседа...

* * *

Вот и солнце — высоко-высоко!
Вот и небо — синей и синей!..
Я иду — и легка мне дорога!
Я живу — и все больше друзей!..

А вчера еще выли метели,
Ночь тянулась, я думал: «Концы...»
Но сегодня скворцы прилетели,
Обживают жилища скворцы.

Стали женщины вроде моложе,
И старушки лопочут резвей.
Постовой с ребятишками тоже
Кормит прямо с руки голубей.

Ну, так что, стихотворец угрюмый,
Мой печальный, надрывный мой брат.
Брось свои неподъемные думы,
Обновлению ты ли не рад?..

Посмотри, как высоко-высоко
Нынче солнце стоит над землей,
И дорога, сколь видно — дорога,
И дорога, взгляни,— за тобой...

Не о том ли ночами ты думал?
Ну да разве один ты такой?..
Улыбнись, стихотворец угрюмый,
Посмотри, мир опять — молодой.

* * *

Тяжелые вздохи болота,
Смятенье пустынных полей.
Где, осень, твоя позолота? —
Лишь нищенский трепет ветвей.

И тянутся, тянутся рельсы
Куда-то в поля, на закат.
Любимая, руки и сердце
Предательски подло дрожат.

В глазах твоих стынет дорога
И неба знобящая даль,
Но нету и капли упрека.
Лишь светится с донца печаль.

Да, видно, мы много теряли,
Коль стали родного родней
И эти знобящие дали.
И нищенский трепет ветвей...

Анатолий АНДРЕЕВ

ЭФФЕКТ ЛОТОСА

1

— А этот волк хороший или плохой? — спросила Дашка, не отрываясь от экрана телевизора, где показывали мультик про добро и зло.

— Волк? Плохой, — неуверенно ответил Юлий, ее отец.

— А зайчик хороший? — продолжала переживать Дашка.

— Зайчик? Кто его знает. Скорее всего, хороший, — сказал Юлий, отзываясь более на свои мысли, нежели на слова дочери.

— Почему? — не унималась дочурка.

— Потому что он белый и пушистый, — сказал Юлий только для того, чтобы что-нибудь сказать.

Она облегченно вздохнула, нащупала плюшевого зайца (почему-то серого, в яблоках, словно лошадь), не отрывая взгляда от экрана, и прижала его к себе.

Юлий внимательно посмотрел на дочь.

— А ты хорошая? — спросил он без улыбки.

Дашка не задумываясь отрицательно покачала головой.

— Нет? — удивился Юлий.

— Нет.

— Почему?

— Я маму люблю.

— Так-так.

Он опустился перед дочерью на корточки, как зек. Скорее инстинктом отца и неглупого мужчины, чем воспитателя, Юлий почуял, что этот ответ нельзя оставлять без внимания. За эту ниточку следует потянуть. Именно сейчас, когда она всецело захвачена волчье-заячьей интригой и разговаривает с ним словно во сне, под гипнозом; потом, когда вернется в реальность и сосредоточится на своих детских переживаниях, она уйдет в себя, как ее мать, и разговорить ее будет гораздо сложнее, если вообще возможно.

— А мама хорошая? — спросил он вкрадчиво, чтобы не спугнуть первобытную искренность дочери.

— Не-а. Плохая.

— Почему, Дашун?

— Она же ушла из семьи и нас бросила. Ты сам так говорил. Папа, а заяц боится волка или притворяется?

— Притворяется, конечно.

Дашка перевела на него свои круглые глаза, чистота которых всегда переворачивала ему душу, и сказала, по-взрослому вкладываясь в каждое слово:

— Папа, он его боится.

— Заяц?

— Да, папа.

— Не исключено.

— Уф! — воскликнула Дашка, откидываясь на спинку дивана. — Все, конец! Ну, волчара, дурак такой! Чуть не съел зайца!

Она отбросила потрепанного зайца в угол дивана (он завалился на бок и рухнул на пол — Дашка ухом не повела) и забралась к отцу на колени.

— Пап, а знаешь что?

— Ты хочешь о маме поговорить, мое золото?

— Нет. Знаешь что, — а купи мне волка.

— Зачем?

— Он прикольный.

— Ты хочешь сказать — плохой?

— Нет, пап — он прикольный.

— Понятно, — сказал Юлий, как всегда говорил в тех случаях, когда ему ничего не было ясно или когда он был не согласен с собеседником.

— Купишь, пап?

— Куплю, конечно, раз он прикольный. А он не съест твоего зайца?

— Пап, ну что ты как маленький? Он же будет плюшевый. Как он его может съесть? Ну, как?

— Никак, пожалуй.

— Смотри. Не дав слова, держись, а дав слово, крепись. Обещания нужно выполнять. Да, пап?

Юлий по опыту знал: Дашка не отстанет.

Она была копия своей матери: такая же тихая, но себе на уме; иногда же редкостно, феноменально настырная. У Юлия возникало впечатление, что жена его копит, копит свое упрямство, понапрасну его не расходует, и когда посчитает необходимым, пускает в дело весь запас.

Тогда, если не хочешь больших неприятностей, надо отойти в сторону, отступить.

Но только не в этот раз.

В этот раз, дорогая Юлия, ты нарвалась на скалу.

— Даша, только надо говорить так: не дав слова, крепись, а дав слово, держись.

— Папа, ты же знаешь: я всегда путаю. Так ты купишь волка?

— Сама ты волк, — сказал Юлий. — Подними зайца.

— Так купишь, пап?

— Будет тебе прикольный волк, — вкладываясь в каждое слово, произнес Юлий.

«Если разобраться, то в дочери и от отца не меньше», — подумал Юлий, прижимая Дашку к себе.

2

Жили-были Юлий и Юлия, и все у них было хорошо, как у всех: безмятежное детство, мятежная юность, пафосная молодость, остывающие с возрастом души. Однажды они случайно встретились, приглянулись друг другу, потом, судя по всему, влюбились (взаимно) и, в конце концов, поженились. Возник союз. Все как у людей.

Они были обычной, если не сказать типичной, парой. Родилась у них дочь Дашка, и они в ней души не чаяли. Жар сердец отдавали они теперь семейному очагу: они уже любили не столько друг друга, сколько свою семью, центром которой стала Дашка. Все как положено.

Но вот в Юлии нечаянно-негаданно (этому ведь никто не учил, об этом никто не предупреждал) проснулось глубоко женское — в ней очнулась спящая красавица, Джульетта. Она решила, что безумно любит своего новоявленного Ромео, ибо родилась она для страсти и любви, которыми в жизни была обделена. Отринув меркантильные расчеты и унижающий все высокое в человеке прагматизм, гм-гм, Юлия, как человек глубоко порядочный и, следовательно, рассчитывающий на порядочность другого, тут же поставила в известность до той поры если не глубоко обожаемого, то вполне уважаемого супруга своего Юлия.

Юлий также удивил себя, всех, и прежде всего Юлию. В нем проснулось нечто глубоко мужское, брутальное, корнями уходящее в дионисические хляби; в нем проснулся Цезарь в латах, деспот и тиран. Дремавшие в Юлике властность и сила оказались куда крепче, прочнее и первобытнее порядочности, которую Юльке угодно было толковать как «сделай все возможное и невозможное, чтобы жена твоя любимая ушла к Ромео и была с ним счастлива».

Юлий удивил Юлию, а именно: он выбросил ее чемодан с вещичками со словами «убирайся к чертовой

бабушке, змея подколодная, и передай своему поручику, чтобы не попадался мне на глаза, пес паршивый, а если подойдешь к Дашке, порву тебя, как Барсик перчатку».

Скорее всего, это было непорядочно, как-то дико, и Юля как человек порядочный имела полное моральное право обидеться, однако бедная женщина испытывала совсем иные чувства. Она втайне любовалась вулканическим началом, звоном металла — так сказать, Цезарем в Юлии, бывшем суженом, а поникшего Ромео, Василия по паспорту, все более и более переставала уважать, несмотря на то, что ради нее он, как истинный джентльмен, бросил свою семью.

Все так запуталось, все стало таким непредсказуемым.

Юлия, втайне считавшая себя сильной женщиной, обнаружила в себе слабую, беззащитную девочку. Своего мужа (бывшего?! о, нет! или все же — да?), обычного мужчину, она перестала понимать и предсказывать, даже не пыталась угадать логику его поступков. Он стал казаться ей страшным, непонятным и, чего греха таить, величественным. А тот, кто вчера еще казался роскошным и всепобеждающим, ослепительный Василий, не кто иной, сегодня выглядел как задавленный проблемами среднестатистический мужчинка. Ничего от былого великолепия и исключительности. Вот как-то не хватило ему духу и уверенности. Хотя все, казалось бы, делал правильно. Претензий нет, но и увлеченность враз пропала.

Она запуталась. Ослепла. Испила яду искушений. Погибла.

Что же теперь будет?

Постепенно в душе обрисовывался и обрастал внятными контурами будущий центр возрождения, непотопляемый остров: Дашка. Точка, точка, запятая. Минус. Рожица кривая. Палка, палка. Огуречик. Вот и вышел человечек. К Дашке ее тянуло неодолимо, и за нее она готова была драться насмерть. При имени «Дашка-а!», отзывавшемся в душе болью и радостью, пропадал страх, наплевать ста-

новилось на любовь и счастье, на порядочность и страсть. В Юльке просыпалась уже не Джульетта, и не Афродита даже; может быть, сама Деметра. В недрах женского существа оттаивала какая-то мать-сыра-земля, ответственная за циклы жизни, а не за перспективы одинокой заблудившейся барышни.

Джульетта нарвалась на Цезаря и гибельно превратилась в лужицу слез, испарившись нежной Снегурочкой; теперь Цезарю придется иметь дело с богиней, поставившей на колени самого Зевса.

— Дашка!

— Что, папа?

— Вот твой волк прикольный. Держи зверя.

— Ой, спасибо! Какой хорошенький! Большой!

— Он злой и страшный, имей в виду.

— Нет, папа! Он милый. Такой серенький. И грустный.

— Грустный! Да ты на его пасть посмотри! Кошмар Красной Шапочки. Как ты его назовешь, интересно?

— Барсик!

— Вот это новость! Ведь это собачье имя. Дворняжье. А он лесной разбойник.

— Папа! Я же девочка. Меня должны окружать добрые люди и звери, а не чудовища. Мама так говорила.

— Люди, звери. И мама.

— Да, и мама. Папа, ты простишь ее?

— Не знаю.

— Нельзя же быть таким злым. Я тогда не буду тебя любить.

Юлий присел на корточки перед дочерью.

— Ты считаешь, что если я ее не прощу, то плохим буду я?

— Конечно. Теперь она будет хорошая, а ты плохой. Как волк.

— А почему она хорошая?

— Потому что она мне нужна. Она называла меня «мой Цветочек».

— Понятно.

Юлий подошел к висевшему на стене портрету своего деда, известного полководца Великой Отечественной, позднее впавшего в немилость у сердобольного народа. Долго смотрел на его ордена и медали, потом скрестил с ним взгляды. Дед в резкой форме был в чем-то не согласен с внуком.

— А если я уйду из дома, Дашка? Я буду плохим?

— Папа, ты не будешь плохим; ты будешь просто чужим. Как папа Светки, с которой я дружу. Он забирает ее в воскресенье и кормит мороженым, а потом у нее болит горло. А вообще-то прикольно. Я люблю мороженое.

— Завтра придет твоя мама.

— Ура! Ты ее простишь?

— Смотря как она себя поведет. Смотря как я себя поведу. Знаешь, что такое открытый финал?

— Знаю! Это когда добро победит зло.

— Не совсем…

— Значит, простишь. Смотри: не дав слова, держись…

— Крепись.

— Крепись. А дав слово, держись. Так говорил твой дед Павел? Вон тот? На стене который?

— Да, он говорил именно так. Он был героем. У тебя есть предок, которым можно гордиться. Это хоть какой-то якорь в жизни, поверь.

— А почему мама называет его Людоедом? Он был волк, что ли?

— Нет, он не был волком. Просто мама твоя дура.

— Папа! Разве можно так говорить о женщинах?

— Нельзя. О женщинах надо отзываться уважительно.

— Почему же ты сказал?

— Потому что я плохой.

— Нет, папа, ты не плохой; ты просто плохо поступил. Нельзя говорить человеку, что он плохой, а то он захрюкает. Так меня мама учила. Она ведь не дура? Нет, ты скажи, ты не молчи.

— Нет. Она не дура. Я надеюсь.

— Ну вот видишь! Сам сказал! Значит, ее надо простить.

3

На следующий день Юлия пришла к мужу и дочери не одна. С цветами.

Наличие в опущенной руке красноречиво молчащего букетика, очевидно, следовало расценивать как знак извинения, в идеале плавно переходящего в примирение. Букет был сдержанным и скромненьким. Символическим. Ромашки, доверчиво распахнутые миру, как глаза Дашки, прикрывались декоративной травкой. Выжидательный букетик.

— Где Даша?

— Она у бабушки, дочери Людоеда. Которому тиран, время от времени выступавший в роли вождя и учителя, присвоил звание Маршала Советского Союза.

— Юлий! Давай сейчас не будем об этом! К нашей ситуации это не имеет никакого отношения. Я знаю: я поступила плохо. Я приношу свои извинения. Я стала другой. Сильный человек должен уметь прощать. Я надеюсь, ты сильный. Помнишь, как ты говорил? Тот, кто держит в руках цветы, не способен сделать ничего плохого. Вот я стою перед тобой с цветами в руках, с открытым сердцем…

— Ты уже сделала плохое: ты сорвала цветок. Убила жизнь.

— То есть как — убила? Я никого и ничего не убивала. Не надо быть фарисеем. Это всего лишь цветы. Ты мне тоже дарил цветы — значит, ты тоже поступал плохо?

— Нет. Я тебя любил.

— Тебе можно дарить девушке цветы, а мне своему мужу — нельзя?

— Когда любишь, можно все. Тогда цветы радуют. А если ты предала, зачем рвать цветы?

— Ты не можешь забрать у меня Дашку! Не можешь! Я тебе ее не отдам! И не надейся!

И в доказательство своей решимости она швырнула свежий букет на пол. Теперь рассыпавшиеся веточки и стебельки смотрелись поникшим, но все еще живым укором, символом растоптанно-втоптанного чего-то нежного и ранимого. Ромашки страдальчески уткнулись светло-желтыми личиками в линолеум.

Красивые цветы, валяющиеся на полу, — всегда тревожный и плохой предвестник. Жест жены можно было понять так: «сантименты в сторону».

Вряд ли это было домашней заготовкой; скорее всего, чистой воды импровизация. Юлий никогда еще не видел свою жену столь воинственно настроенной. В ней клокотало не упрямство, а твердость. Черта натуры нашла точку приложения в жизни и становилась силой характера. Это невольно внушало уважение.

Однако Юлий не намерен был капитулировать так легко. Он вообще не намерен был капитулировать. В его жизни также начиналась новая полоса.

Он весело смотрел на ее гнев и отчаяние, понимая, что легкомысленная насмешливость пугает ее и деморализует. Но у него и в мыслях не было проучить ее, отомстить или задать примерную трепку. Вовсе нет.

Боль и унижение обострили способности ума, и теперь он начинал осознавать природу своей силы. Он понял: чтобы жить с женщиной, необходимо соблюсти два условия (по крайней мере, в его случае).

Первое: надо открыться самому себе до конца, железом каленым выжечь всякие сопливые иллюзии, заглянуть к себе в душу и увидеть то, что там есть, без прикрас: золото — значит золото; плесень — значит плесень. Зачем? Затем, чтобы стремление к силе и власти, свойственное всякому, даже самому завалящему мужичонке, обернуть на нужды самопознания. Сила и власть как цель и смысл — это врожденное, своеобразная родовая отметина или генетический признак. Самопозна-

ние — благоприобретенное, завоеванное с помощью силы качество.

Ergo: стать мужчиной — значит научиться контролировать природное стремление к силе и власти.

Второе: надо, чтобы она, женщина, почувствовала (понять-то ведь ей не дано; или все же дано? ладно, это пока неясно) масштабность твоей мужской натуры.

Если почувствует, если ей дано почувствовать, если в душе у нее присутствуют врожденные рецепторы, то она будет твоей. Если нет, то это не твой человек. Это мелкий, плохой человек.

А зачем это все?

А затем, что он, мужчина, должен вырастить из дочери своей настоящую женщину. Правильную. Хорошую. А что значит вырастить дочь?

Это значит — разобраться в себе.

Задача стояла вовсе не так: простить — или не простить; быть великодушным — или не быть. «Сильный человек должен уметь прощать...» Это пустые слова, религия плохого человека.

Проблема была в другом: что есть жизнь? Что есть человек? Мужчина? Женщина? Истина?

Стремление разобраться в себе Юлий стал осознавать как первый долг мужчины. Долг перед собой. Дочерью. Жизнью. Истиной.

Ergo: дочь и истина стояли в одном ряду. Тесно прижавшись друг к другу. Почти как добро и зло.

И Юлия кожей и сердцем почувствовала всю мощь его новых мыслей.

Перед ней стоял человек, который улыбался не тому, что у него появилась возможность унизить ее, наказать, покуражиться, поставить на место, а тому приятному для него обстоятельству, что рядом с ним, с такими, как он, и только с ними, женщина может раскрыть всю свою красоту и силу. Он улыбался улыбкой сильного, открытого и хорошего человека.

Теперь он выбирал нужную ему женщину, давая при этом возможность ей выбирать мужчину: такого,

как он, или в принципе на него не похожего. Честно и откровенно.

И это было уже не как у всех, Юлий предлагал что-то новое в жизни. В его облике и повадке появилось что-то от Зевса, и Юлия сразу же почувствовала, что следует считаться с его правилами игры. Она доверилась тому, чему не может не довериться нормальная женщина.

В этот момент Василий показался ей вызывающим жалость мужественным идеалом, безупречным героем, достоинства которого делали его маленьким, мультяшным, и ей стало неловко за свою вчерашнюю наивность. Стало стыдно не перед Юлием — перед собой. Боже мой, как это было глупо! И потому — пошло. Захотелось по примеру ромашек укрыться от света.

Но Юлий не торопил события; он стоял и ждал.

Вот это было в нем новое: умение держать паузу. Сразу верилось: этот никогда больше не будет суетиться. И сделает то, что надо.

— Ты позволишь мне быть матерью для моей дочери Даши?

— Как же я могу забрать у тебя это право? Об этом не надо просить. Хочешь быть матерью — будь ею.

— Хорошо. Тогда скажи, чего хочешь ты.

— Многого. Я и сам не знаю, чем закончится наш разговор, но я намерен прояснить наши отношения. До конца. До первоосновы. До тины болотной. Извини за откровенность. По-другому сегодня со взрослыми и близкими мне людьми я не умею, не хочу и не буду.

— Нам надо поговорить, согласна. Я внимательно слушаю тебя.

— Для начала я хочу знать, кого ты считаешь хорошим человеком?

— Что за вопрос? Каждый по-своему хорош. И по-своему плох. Не бывает же однозначно плохих или хороших. Это только в сказках для Дашки есть славные герои и черные злодеи. А в жизни все по-другому. Неизвестно, как все обернется.

— Не скажи. В жизни все именно так, как в сказке. Или как на войне. Люди делятся на хороших и плохих. И в этом вся загадка жизни. Тут не надо вилять хвостом. Тут надо принять чью-то сторону.

— Не могу понять, к чему ты клонишь. Ты хочешь объяснить мне, почему я плохой человек? Давай, валяй. Аргументов в твоем распоряжении в избытке. Если собьешься, я помогу. Память у меня хорошая.

— Сколько иронии! Тут до праведного гнева рукой подать. В сказку не веришь, но предлагаешь, чтобы битый небитого на собственном хребте подвез до ближайших райских кущ.

— Чего ты хочешь? Не мучай меня!

— Я хочу, чтобы ты объяснила мне, почему ты считаешь моего деда Людоедом?

— Юлий, я прошу тебя: при чем здесь это? Это древняя тема, седая история. Это не про нас.

— Нет, это про нас. Здесь есть связь. Ответь, пожалуйста.

— Зачем так издалека? Прямо как робкий мальчишка или занудный старик. Хочешь спросить про полковника Василия…

— Мне наплевать на твоего Василия. Он чином не вышел. Мелкота. Куда более меня интересует мой дед.

— Хорошо, я отвечу. Твой дед получил звание заслуженного Людоеда потому, что загубил тысячи, десятки тысяч душ ради этой чертовой победы.

— Этому тебя праведница-мама научила?

— Да, мама. Именно в ее романе выведен образ Людоеда. И не мама виновата в том, что по кровавым повадкам узнали твоего деда. Видимо, похож. Отец мамы, как тебе хорошо известно, десять лет протрубил в лагерях за мифическую измену родине. А потом был расстрелян. У нас дома висит только портрет твоего деда; а где же мой дед? Чем он хуже? Ах, он струсил, попал в окружение в Брянских лесах и болотах? Так он попал в окружение и испытал все прелести ада по милости Людоеда, Великого

и Ужасного Маршала. Твоего деда. Где доказательства, что мой дед переметнулся на сторону врага? Показания свидетелей, впоследствии также расстрелянных? Не смешите меня. И не судите других, если не призваны. Ты хочешь услышать от меня спасибо Маршалу, спасшему страну от коричневой чумы? Но Людоедов не благодарят.

— Да, мне хорошо известна эта темная история с твоим толерантным дедушкой. Любите вы наводить тень на плетень: то ли он предал свою страну, то ли начальство его предало… Скажи, а ты считаешь свою маму талантливой писательницей?

— Нет, талантом она обделена.

— Рад это слышать. Таланта у нее нет, но книжка про Людоеда хорошая. Я правильно понял?

— Она обделена талантом, но не душой! Она хороший человек! Она всем помогает и никому не сделала зла. Тебе это тоже отлично известно. И пишет она только о хорошем, добром и вечном.

— Бездарный писатель — это гораздо хуже, чем хороший полководец. Быть бездарным писателем — значит врать на каждом шагу, себе и другим. Называть черное — белым, мелкое — великим, высокое — низким. Быть бездарным писателем — это преступление против человечества, преступление, на которое не распространяется срок давности. Бремя власти и ответственности согнуло моего деда и свело его в могилу. А вот твоя бодрая маман все прыгает и стрекочет, как сорока, она не понимает, что писатель — это ответственность, великий писатель — великая ответственность. Бездарный писатель — это плохой человек, а плохой человек не может писать о хорошем. Он это хорошее просто в упор не замечает. Не понимаю, от кого она открещивается своими иконами? У меня такое впечатление, что от себя самой. Полагаю, в этом месте тебе следовало бы обидеться за маму.

— Я не позволю плохо говорить о своей матери! Твоя ирония также неуместна!

— Это правильно. Совершенно справедливо. Я не уважаю твою мать, что и было гарантией стабильности

наших семейных отношений; но если бы ты отказалась от нее, я перестал бы уважать тебя. Я вовсе не питаю иллюзий по поводу своего деда, он был невыносим своей категоричностью; но я перестану уважать себя, если позволю в него плевать.

— Вот и оставим мою мать в покое.

— Нет, не оставим. Почему ты боишься быть справедливой к своей матери?

— А почему ты боишься быть справедливым к своему деду?

— Неправда. Я к нему справедлив. До несправедливости справедлив. Ты хочешь сказать, что Павел Илларионович был бесчувственным карьеристом? Если бы это было так, то ты права. В этом случае он Людоед и плохой человек, который прятался за спины других. А если у него просто не было иного выхода? Тогда жертвы, к сожалению, входят в понятие «цена победы». Он сознательно брал грех на душу. Был патриотом. Хотел как лучше. В таком случае, он был не таким уж плохим человеком. По крайней мере, не Людоедом. Поедом он ел только себя. И его можно понять. И простить, даже если он был виноват. Даже если без вины виноват. А вот почему ты боишься быть справедливой к своей матери? Уж не себя ли ты боишься?

— Хорошо. Он не Людоед. Я погорячилась. Ты этого от меня хочешь? Пожалуйста. И это все, что мешает нам понять друг друга?

— Нет, не все. И хочу я от тебя не этого. Я хочу, чтобы твой дед, если он понимает, о чем я говорю, пожал руку моему деду.

— Ты с ума сошел! Да они давно покойники. И мир их праху. Зачем тревожить тени предков?

— Но ты ведь жива. И я жив. И Дашка. Поэтому наберись мужества — пойди и повесь портрет своего деда. Если он этого достоин. Рядом с Маршалом. Или напротив. Как посчитаешь нужным. В противном случае тебе придется сказать Дашке всю правду. Рано или поздно. Или об этом позабочусь я.

— Я не знаю. Я не знаю, чего достоин мой дед. И не тебе судить, хороший он был человек или плохой. Я только знаю, что моя мама любила и продолжает любить его. И я знаю, что любовь — это чувство священное.

— Любовь к папе дает основание твоей маме называть честного Маршала Советского Союза Людоедом?

— Я не знаю! Что ты все выворачиваешь корнями к небу! Я не вправе судить родителей и вообще своих предков. Они жили как могли. Как получалось. Не судите, да не судимы будете.

— Очень удобная позиция. Я не сужу, и вы меня, будьте так любезны, не судите. Рука руку моет. Это всемирный заговор плутов и слабаков. Библейского масштаба покрывательство.

Юлий Илларионович вышагивал по комнате, словно готовясь не к завершению разговора, а к решающему штурму. Юлия испытала острый приступ ненависти, глядя на его слегка сутуловатую спину, уверенную поступь. Действительно, в повадке было что-то волчье. Наводящее страх. Она ни секунды не сомневалась: Людоед в портупее вот так же, от стены к стене, мерил шагами свой теплый прокуренный кабинет, уже хладнокровно приняв решение бросить беззащитных бойцов в брянских топях.

В этот момент Василий показался Юле непонятым, безвинно пострадавшим героем, достоинства которого не в состоянии были оценить узко мыслящие, и ей стало неловко за свое минутное умопомрачение, которое показалось ей прозрением.

Ей стало неловко за то, что она так легко предала Василия.

4

Юлий тем временем настойчиво что-то предлагал:

— А теперь ответь мне: что отличает хорошего человека от плохого?

— На этот вопрос невозможно ответить. Ты прекрасно знаешь это, поэтому задаешь этот дурацкий вопрос.

— Напротив, на этот вопрос ответить очень легко. Только вот жить с ответом тяжело.

— Вот ты и ответь, раз такой умный.

— Изволь. Хорошего человека от плохого отличает наличие ума.

— И все?

— И все. Хороший человек и глупость — две вещи несовместные.

— Юлик, я считала тебя умнее! Причем здесь ум? Хороший — умный, плохой — дурак? Ни в жизнь не соглашусь. В последнюю очередь ум делает нас лучше или хуже.

— А в первую очередь?

— Душа. Воспитание, благие намерения! Вера, наконец. Надежда. Не ум! Причем здесь какой-то ум? Разве мало на свете умных негодяев?

— Это ты из глупых романов своей матушки набралась? Чувства мы испытываем приблизительно одни и те же; и верим, и надеемся, как по команде; под венцом пускаем светлую слезу, над гробом — черную; мы даже поступки совершаем похожие. Но одни из нас достойны называться хорошими людьми, а другие — нет. Способность понимать — вот критерий. А умный негодяй — это все равно что живой труп. Оксюморон. Такого в природе не бывает. Увидишь — покажи мне. Это поэкзотичнее йети будет. Станешь автором антропологической сенсации в науке.

— Мы ничего не знаем о людях. Ничего! Мы — тайна, даже для самих себя! Почему вдруг любовь уходит? А потом ты жалеешь об этом. А потом не знаешь, стоит ли жалеть? Почему? Что такое предательство? Неизвестно. Мы не знаем, почему бывает так, что кто-то становится маньяком, а кто-то — героем. А маньяки и герои могут быть из одной семьи, рожденными от одних и тех же родителей. Их одинаково воспитывают. Как все это объяснить? Нет, мир и человек необъяснимы. Я не верю, что они объяснимы.

— Про героев и маньяков из одной семьи — это ты о себе и своем брате?

— Перестать сыпать соль на рану. Или ты считаешь глумление над семейной трагедией привилегией умного человека? По-моему, это непорядочно.

— Если ты не веришь сама себе, если ты боишься человека, если ты не понимаешь, как надо воспитывать, не веришь в воспитание, зачем ты рожала Дашку? Зачем ты швырнула ее в этот мрак и ужас под названием мир божий? Как ты собираешься ее воспитывать? Как бог на душу положит? Вооружившись верой в лучшее? Надеясь на чудо?

— Я собираюсь ее любить!

— А разве твоя мать не любила сыночка-подонка?

— Перестань! По-твоему, только умные имеют право рожать и воспитывать детей?

— По-моему — да. Хорошие. Иначе постоянно будете воспроизводить маньяков, трусов, предателей и бездарей. От большой, но чистой любви! Как же вы меня, сердобольные, достали! Все у вас во имя любви, все преступления во имя веры! Никак не можете усвоить, что именно слепая, глупая любовь делает отцов и детей чужими. Любовь идиотов — мать ненависти.

— Юпитер, ты сердишься, следовательно, ты не прав…

— Вот-вот, умеете только цитировать, прикрываться фразами, не вникая в их смысл. Память хорошая, а ума нет. Для вас история культуры — пустой цитатник. Нет, не дождетесь, судьбоносных решений во гневе не принимаем. Но ненавидим с чувством, с толком, с расстановкой.

— Цитата не точная.

— Зато в ней есть смысл. Попробуй вдуматься.

— Ты хочешь сказать, что ты не отдашь мне Дашку?! Так и скажи. А то все ходишь вокруг да около. Правдолюбец. Гуманист!

Юлий вновь взял паузу. Он долго ходил по комнате, держа руки за спиной, и думал о чем-то своем. Он

выпрямился и подтянулся, в осанке появилось больше стойкости и несгибаемости, но, как ни странно, теперь он больше напоминал заключенного, нежели лютого Маршала.

И Юлия вдруг чуткими фибрами сделала вывод: чем умнее и сильнее мужчина, тем более уязвимыми у него становятся слабые места. А уж ахиллесова зона мужа ей была известна давно: ум и порядочность — то, что делает его сильным.

И Юлия успокоилась. Пауза продолжалась, но теперь ее контролировала неверная жена. Она же и решила, когда продолжать прерванный разговор.

— Ты помнишь, как мы с тобой познакомились?

— Скорее всего, ты лучше это помнишь. Скажи мне честно: ты меня любишь?

— Не знаю…

— Ответ убедительный. Браво.

— А ты меня любишь?

— Честно?

— Не знаю...

— Ты боишься не только честных вопросов, но и честных ответов.

— Я боюсь жизни без веры. И без любви. Не разрушай мою жизнь.

— Ты боишься посмотреть правде в глаза. И прикрываешься пустыми словами. Цитируешь маму.

— Юлик, не забывай: я все еще живая. И мне больно.

— Ладно. Из уважения к тебе, к нашему прошлому и моему будущему отвечу честно. Я не люблю тебя, нет; но я все еще не утратил желания тебя любить, хотя ты меньше всего на свете достойна любви. И я не прощу тебе предательства. Вряд ли ты поймешь, но я считаю так: если я прощу предательство, то ты должна быть первая, кто перестанет меня уважать. Простить предательство — это в стиле á la Василий закрыть глаза на проблему, сделать вид, что все само собой рассосалось. Было — и сплыло. Все само собой уладилось и устроилось. Безо всяких душевных за-

трат. Это малодушие, чтобы не сказать бездушие или равнодушие. Простить можно временную глупость. Ослепление. Вспышку страстей, если угодно. Да и то лишь в том случае, если провинившийся хоть немного был жертвой. Когда человек поумнел, стал лучше, загладил вину — проехали и забыли. Хотя и тут сердцу не прикажешь. Может, проехали, а может, и заноза на всю жизнь. Умом любовь не лечится, хотя без ума погибает. Что касается тебя, то ты мало похожа на жертву обстоятельств; скорее ты жертва своего эгоизма. Вот была, была милой, белой и пушистой, а потом вдруг перестала скрывать нутро. Была добрым зайчиком, да обернулась злым волком. А кто ты на самом деле? Я испытываю к твоей двойственной сущности противоречивые чувства, извини за выражение. Но сейчас, на этом этапе, я вынужден желать тебе, матери своей дочери, всего наилучшего; я одновременно презираю тебя и злюсь на тебя. Возможно, так любовь к тебе покидает мое сердце. Не знаю. Ты думаешь, я все понимаю? Да я запутался не меньше твоего. Но я знаю, где выход и как его искать. Я не слепой — просто вокруг меня сейчас темнота. И я иду в ту сторону, где рано или поздно появится свет в конце тоннеля. А вот ты слепа как темень болотная… Ты не столько думаешь, сколько выгораживаешь себя. Думаешь только о себе. Швыряешься цветами. То есть, опять же, — не думаешь. Дашка не только твоя дочь, но и моя. А ты об этом ничего еще не сказала. Сейчас, на этом этапе, ты, именно ты, хранительница очага, делаешь нас всех чужими. Кроме всеразрушающей любви и страха перед жизнью, у тебя ничего за душой. Таких добрых самаритян, как ты, надо хорошенько время от времени тыкать рыжей мордой в стену. Или в линолеум. Чтобы устраивать сотрясение мозга, если он в вашем сером веществе присутствует как таковой.

В словах Юлия звучали не только обида со слабостью, но и отчаяние, разбавленное силой. При желании Юлия могла бы и обидеться.

Но она из чувства самосохранения поддалась иному, более сложному переживанию.

— Ты решил меня добить?

— Я решил выяснить с тобой отношения. Люди должны строить отношения, холить их и лелеять. Время от времени — капитальный ремонт: выяснение отношений. Мы жили с тобой, но, на чем держался наш союз, было неизвестно. Мы просто жили-были. Это так унизительно: любить достойных презрения, неизвестно за что — прощать, хотеть как лучше, не давая себе труда подумать при этом. Как приятно добрым быть. Белым и пушистым. Сам на лавку, хвост под лавку. Тьфу на это сказочное бытие! Как только начинаешь понимать, включаются совсем иные, умные чувства. Человек в меру своих возможностей становится хорошим. И это закон жизни.

— Я ничего не понимаю, я запуталась. Просто скажи мне: как мы будем жить?

— Лично я собираюсь жить, как хороший человек. Вот ты считаешь себя хорошим человеком?

— Я не знаю… Я ни в чем не уверена. Как можно сказать о себе такое — я есть хороший человек? Это самоуверенность. Гордыня. Грех.

— Ладно. В таком случае назови вещи своими именами — скажи, что ты плохой человек. Стерва.

— Я не могу сказать о себе такое. Я не хуже, чем все остальные. И вообще… Человеку нельзя говорить, что он плохой. Нельзя ставить на нем крест.

— Назвать плохого плохим — самое богоугодное на свете дело. А крест на нем ставлю не я — ставит он сам. Или его мама.

— Какое тебе дело до того, хорошая я или плохая? Ты мне — кто? Судья? Муж?

— Я? Можно сказать, биологический отец твоей дочери. А по сути, просто прохожий. Я тебе как-то приснился по весне. А потом тебе приснился Василий. Имей в виду: плохая ты мне не нужна. Без раскаяния, то есть без осознания своей вины, ко мне не подходи. При этом молитвы не в счет. Не торопись замаливать грехи, а то успеешь.

Оставь это богоспасаемое занятие в утешение своей матери, бездарной, но такой добросердечной. Вот ей точно все простится. Ибо она не ведала, что творила… Как с гуся вода. Ну что за люди эти пернатые! Скажи, почему она называла тебя «моя Жемчужина Лотоса»?

— Потому что любила меня. Лотос был ее любимым цветком. Ничего инфернального, как видишь.

— Знаешь, что такое эффект лотоса в вашем случае? Это когда к человеку не пристает ничто человеческое: ни хорошее, ни плохое. Как с гуся вода. Добро и зло приемли равнодушно. Почему к вашей семейке не липнет ничто хорошее? Да потому, что вы жуткие эгоисты. Вы равнодушны ко всему на свете, кроме самих себя. Вот почему на вашем семейном гербе красуется лотос. Не любовь, верность, патриотизм, о, нет. Лотос. Вещь в себе. Чистая красота. Не судите, да не судимы будете. Но вы не учли одного: если не пристает добро — липнет зло. Равнодушие — форма зла. Вот почему вы маскируетесь под страстотерпцев-праведников, для вас иконы, вера, любовь, милосердие, дети, родители — всего лишь самый эффективный камуфляж. Вы растете из болотной грязи, а делаете вид, что непорочны, как перл, как слезинка Дашки. Вот кто ты на самом деле — Лотос. Твоя мать была права. Понимаешь, к чему я?

— Нет.

— Маршал правильно сделал, что расстрелял твоего деда. Такое, лотосиное отношение к жизни надо изводить на корню, — вкладываясь в каждое слово, отчеканил Юлий.

И это прозвучало как приговор, обжалованию не подлежащий.

— Ладно. Ты меня ненавидишь. Я тебе изменила, я плохая… Но как же Дашка, мой Цветок? Моя Жемчужина? Ее тоже — под корень?

— Дура ты. Для тебя все в этой жизни материал. И я. И Дашка. И Василий. И твоя мать. И дед. Все, все брошено на священный алтарь эгоизма.

— У моей дочери должна быть любящая мать! И любящий отец!

— Разумно любящие родители, ты хотела сказать?

— Я не знаю… Просто любящие. Разве так не бывает?

— Не бывает. Просто любовь — это ни к чему не обязывающее равнодушие. Человек человеку — лотос. Вот ваша болотная философия.

— Так ты хочешь сказать, что не отдашь мне Дашку?! Это я тебе ее не отдам. Ты сам сказал, что запутался. Так вот я все распутаю и расставлю по своим местам.

Теперь Юлия прекрасно знала, что она будет делать. С ее души, как с гуся вода, как утренние росинки с лотоса, сбежали последние капли иллюзий. И она предстала миру свежей, омытой, готовой к битве с чарами ума.

И Юлий знал, чего следует ожидать в ближайшем будущем. Он тоже расстался с иллюзиями, приобретя взамен горькое знание. Лотос, болотный сорняк, произрастал в потемках души. И бороться с ним было делом безнадежным. Хотя и необходимым.

Глаза у Юлии загорелись бело-холодным блеском, а у Юлия в ответ сжалось сердце.

«Не дав слова, держись, а дав слово, крепись», — подумал он.

И в ответ ему послышался голос дочери (круглые глаза — две серые жемчужины, как он раньше этого не замечал! — честно распахнуты, можно не сомневаться):

— Папа, ты не будешь плохим; ты будешь просто чужим.

Любовь ТУРБИНА

ПРОЩАЛЬНОЕ

Тысячелетнее лето почти отошло,
Август закатный, и свет непогасный, прощальный.
За угасающим солнцем следить сквозь стекло
Мне порученье, но смысл ускользает глобальный.

Слово «Помедли!», сорваться готовое с губ,
Не прозвучало, и поводов было немного:
Так, от начала до самых архангельских труб
Верх любопытство одержит и гонит дорога.

От электрички — шоссе, и налево забор,
Этой дорогой меж сосен — привычный сценарий,
Каждую осень повылезут звери из нор;
Множество смыслов являет лесной бестиарий.

Смотрят в упор — не встречайся глазами, бегом,
Этой дорогой, итоговой и многолетней,
Вот деревянный старинный родительский дом:
Дверь приоткрылась, и луч преломился последний.

ПО УЛИЦЕ ЯНКИ КУПАЛЫ

И вот что во сне приключилось со мной —
Родительский дом обошла стороной,
Вдоль Свислочи, дом возле парка,
И окна, горящие ярко.

А улица тихо вплывала во мглу…
Тот розовый каменный дом на углу
По улице Янки Купалы
И голос: «Ну, где ты пропала?» —

Я мамин узнала, но кинулась вниз,
По мостику, вслед доносилось: «Вернись!»
Укрылась в тени и промокла.
А папа все смотрит сквозь стекла.

А рядом со мной кто-то был или нет?
Попристальней глянешь — мелькнет силуэт.
Оставила дом свой — и сразу
Там с крыши посыпались вазы.

БЕЛАРУСЬ

О Беларусь, моя коханка —
Крыжовка, озеро, река,
Лес вдоль дороги и полянка —
Владения боровика.

Твоя надолго полонянка —
Отцовский дом стоит пока,
За баней скромная делянка,
Фасоли грядка как строка.

Но каюсь, давняя беглянка —
Легко любить издалека…
На белорусской вышиванке
Всплакну над синью василька.

КОШКА СЕРАЯ В ПОЛОСКУ

На стене, овитой диким виноградом,
Освященной предзакатным солнцем,
Кошка эта серая в полоску
Нежится в лучах его неярких.

Кошечка ничья, себе хозяйка,
Потому пуглива, осторожна,
На людей с опаскою взирает,
Подманить себя едой не позволяет.

Почему на сердце так тревожно
В яркие сентябрьские закаты?
Почему так душу надрывает
Красота последних дней погожих?

Кошечка, вот-вот подует ветер
Ледяной, с ним горести-печали…
Скоро, скоро грянет зимний холод —
Поищи убежище в подвале.

Мудро ли предчувствовать утраты,
Или игнорировать приметы?
Кошечка, души моей отрада,
Доживем ли мы с тобой до лета?

ОТКУДА В МИНСКЕ МИССИСИПИ?

Когда туманная зима
Уводит в грешное свиданье,
То грезы — прихоти ума —
Лазейки ищут оправданью.

Не путь — изгибы либерти,
Разлегся город в сонном всхлипе,
Осталось реку перейти —
Откуда в Минске Миссисипи?

И странно — этот дом возник,
Когда под мост несло теченье.
Жилище сложено из книг,
Но на сегодня хватит чтенья.

И фортепьяно, и огни,
Окно, за ним пейзаж отечный…
Ужель решимся мы (они?)
Глотнуть печали этой вечной?

МОЙ СВЕТЕ ЯСНЫЙ

Стряхнув осенних листьев бредни,
Судьба свернулась эпизодом…
Не вспоминай тот миг последний,
Лицо в слезах перед уходом.

Мой свете ясный! До разрыва
Была придирчивой и вздорной;
Но не забудь и той, счастливой,
Весной, на улице просторной.

Тень от весла скользит по глади,
Насквозь пронизанная светом…
Запомни в том зеленом платье,
Что так мне шло минувшим летом.

Куст можжевеловый у дачи
Закоченел в оледенье.
Ты был. Ты есть — о чем же плачу?
Зимой целительно забвенье.

КРАСАВИЦЫ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ

Красавицы послевоенных лет,
Их вуалетки, шляпки, платья…
Их притяжения секрет
Здесь попытаюсь разгадать я.

Как луч прожектора, глаза
Впитали токи глаз погасших!
Отказывали тормоза
У сильных, пол-Европы спасших

Солдат вернувшихся — но вдруг
Капитуляция без боя,
И вот, попавший под каблук,
Идет счастливец под конвоем.

Те крепдешины и шелка
Так облипали их фигуры,
Не «в кольцах узкая рука»,
А в крепких пальцах с маникюром.

На солнце-клеше тех материй
Цветы приманчиво цвели…
Четыре года — сплошь потери
Родной, истерзанной земли.

Красавицы послевоенных лет,
Их непогасное сиянье…
Тех звезд далеких нежный свет
Пронизывает мирозданье.

ФОНАРИК

Ты только живи! Мой особенный, рыженький,
Любимый полвека, да всё невпопад…
Но вот оказалось, что просто нет ближе нас
На фоне возможных и прежних утрат.

Пути параллельны, но судьбы не рядышком.
Бессмысленно спрашивать вновь: «почему»?
Мелькает фонарика светлое пятнышко,
Пока не пускает свалиться во тьму.

СОДЕРЖАНИЕ

«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Алесь Карлюкевич 5

Язык отцов, язык тысячелетий

Мухтар Ауэзов
Путь Абая (Фрагмент) 9
(Перевод Анатолия Кима)

Олжас Сулейменов
***Язык отцов, язык тысячелетий... 28
***Мне интересно угадывать... 28
Кыз-куу 29
***Когда на тёмных окнах тает ветер... 30
О своей первой мальчишеской страсти 30
Волчата 32

Фариза Унгарсынова
***Какое счастье... 33
***Ты ушел. Опоры нет отныне... 34
***Когда, когда, когда его увижу... 35
Испытания 36
Монолог женщины 37
Песня Майры 38
(Перевод Татьяны Фроловской)

Абиш Кекильбаев
Возвращение 39
(Перевод Анатолия Кима)

Мукагали Макатаев
Золотой человек 60
Автограф 61
***Родится, родится еще настоящий поэт... 61
***Что такое? Откуда? Зачем-то... 62
(Перевод Орынбая Жанайдарова)

Кадыр Мурзалиев
Горение 63

Мы 63
***Быть может, сам я виноват во всем... 64
Мечта 65
Барымта 65
Стоянка 66
Плач Асана Кайгы 67
Летняя ночь 68
(Перевод Кайрата Бакбергенова)

Калихан Искаков
Запах молока 69

Валерий Михайлов
Берёзовый дым 89
***Всё только начинается... 90
Земля 91
«Лисапед» 92
Музыка 92
Ночной дождь 93
***О ветре о тёмнозелёном шептались листы... 94
Паслён 94

Любовь Шашкова
Степь 96
Тау-тургень 97
Долина 98
Пора барбариса 99

Оралхан Бокеев
Камчигер 101
(Перевод Роллана Сейсембаева)

Назикен Алпамыскызы
Признание 121
Жизнь и смерть 122
XX век 123
Выбор сердца. 124
***На всё гляжу с сомнением давно... 125
Вера 126
Мера 127
(Перевод Надежды Черновой)

Нурлан Оразалин
***Мир как лис хитер... Вводит нас в обман... 129
***Кто-то верит в тебя… 130
***Грустил... 130
***Не надо мерить на одну колодку... 131
***Я с детства о тебе, Поэзия, мечтал... 132
***Храни меня, Создатель... 133
***Мир уже на краю безысходности... 134
(Перевод Кайрата Бакбергенова)

Я вечности пою...

Янка Сипаков
Партизанский парад 137
(Перевод Татьяны Мартыненко)

Владимир Марук
***Мне звезда подмигнула устало... 154
***Как славно в рассветном тумане... 154
***Снова мы идем косить отаву... 155
***У выстылой осени столько в котомке заплечной... 156
***Докучали... 156
***Свечка в окне догорит... 157
***Я не хочу новой жизни земной... 157
***Ноктюрны и плавные вальсы... 158
***У поникших пионов стоим... 158
***Зацветает и мой цикламен.... 159
***Озяблой голубики стебельки.... 159
***Цветет сирень... 159
***Вы колдовали... 160
***Вечер шалью серебристого тумана... 160
(Перевод Андрея Тявловского)

Анатолий Сульянов
Пушок. 162

Владимир Скоринкин
***Над говорливою рекой... 188
***Ветер струны чуть тронул, и вдруг... 189
***О милая порывистая фея... 189
***Твое призванье первое — балет... 190

***Исполнились предвестья Заратустры... 190
***Когда я умру, а умру... 191
***Мне звезды помогли и этой ночью... 192
***Я не уверен, что однажды... 193
(Перевод Глеба Артханова)

Владимир Саламаха
Лица и Лик (Фрагмент) 194
(Перевод Максима Печеня)

Михаил Поздняков
***Нашел льняное покрывало... 206
***Купил у старухи ромашки... 206
***Что рассказать о доле трудной... 207
***Какая сладость в тишине!.. 207
Триолеты 207
***Догорает костерок, и зыбко... 211
(Перевод Глеба Артханова)

Алена Браво
Homo vitreus. 213

Валерий Гришковец
Между Смоленском и Оршей 219
***Взлетают в небо аисты высоко... 220
***Женщина уходит — в одиночку... 221
Дома 221
***Вот и солнце — высоко-высоко!.. 222
***Тяжелые вздохи болота... 223

Анатолий Андреев
Эффект лотоса 224

Любовь Турбина
Прощальное. 246
По улице Янки Купалы. 247
Беларусь 247
Кошка серая в полоску 248
Откуда в Минске Миссисипи? 249
Мой свете ясный 249
Красавицы послевоенных лет 250
Фонарик 251

Литературно-художественное издание

Созвучие сердец

НЕ ВЕДАЯ ГРАНИЦ

Сборник произведений писателей Беларуси и Казахстана

Составитель **БАДАК** Александр Николаевич

Редактор *А. Н. Бадак*
Художник *Я. К. Ващенко*
Компьютерная верстка *Л. В. Михеева*
Стильредакторы *О. С. Рацевич, Н. Ф. Крицкая*

Подписано в печать 11.06.2013. Формат $84\times108^{1}/_{32}$.
Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 13,44. Уч.-изд. л. 10,83. Тираж 1100 экз. Заказ .

Редакционно-издательское учреждение
«Издательский дом «Звязда».
ЛИ 02330/936 от 11.10.2010.
Ул. Б. Хмельницкого, 10а, 220013, г. Минск.

Республиканское унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати».
ЛП 02330/0494179 от 03.04.2009.
Пр. Независимости, 79, 220013, г. Минск.